

interaction

интеракция

interview

интервью

interpretation

интерпретация

INTER

1° 2026





Федеральный научно-исследовательский
социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Российское общество социологов (РОС)

Интеракция. Интервью. Интерпретация
2026. Том 18. № 1
Interaction. Interview. Interpretation
2026. Volume 18. No. 1

ISSN (Online) 2687-0401

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 2002 г.

Выходит 4 раза в год

2026. Том 18. № 1

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1

EDN: ZLXBLO

Учредители Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Российское общество социологов (РОС)

Издатель Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)

Главный редактор	В. В. Семенова
Редакция	А. В. Ваньке Е. Ю. Рождественская А. В. Стрельникова И. Н. Тартаковская
Технический редактор	О. Н. Салангина
Компьютерная верстка	В. Е. Кудымов
Корректор	А. Н. Кокарева

Журнал включен в базу [РИНЦ](#), перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Журнал входит в [Перечень](#) ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Журнал открытого доступа.

Доступ к контенту журнала бесплатный.

Плата за публикацию с авторов не взимается.



Контент доступен по лицензии
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Все выпуски журнала размещаются в открытом доступе
на официальном сайте журнала с момента публикации: <https://www.inter-fnisc.ru/>

Иллюстрация на обложке:

Фрагмент. Станция Червленая, Чечня.

Фото Е.М. Горюшиной



© Интеракция. Интервью. Интерпретация, 2026
© Interaction. Interview. Interpretation, 2026

Редакционная коллегия

Главный редактор

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

Редакция

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru

ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Редакционная коллегия

АБРАМОВ Роман Николаевич — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rabramov@hse.ru

БРЕКНЕР Розвита — доктор философии, доцент, Университет Вены (Вена, Австрия), roswitha.breckner@univie.ac.at

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

ДЭВИС Кэти — доктор философии, профессор, Амстердамский свободный университет (Амстердам, Нидерланды), k.e.davis@vu.nl

ИНОВЛОКИ Лена — доктор философии, профессор, Франкфуртский университет прикладных наук (Франкфурт-на-Майне, Германия), linowlocki@fb4.fra-uas.de

КОЗИНА Ирина Марковна — кандидат социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ikozina@hse.ru

КОСЕЛА Кшиштоф — доктор социологических наук, профессор, Варшавский университет (Варшава, Польша), k.kosela@is.uw.edu.pl

ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия), omelchenkoe@mail.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

- СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна** — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru
- СУШКО Павел Евгеньевич** — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), sushkope@mail.ru
- ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна** — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com
- ЧЕРНОВА Жанна Владимировна** — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург, Россия), chernova30@mail.ru
- ЧЕРНЫШ Михаил Федорович** — член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия), mfche@yandex.ru
- ЧЕРНЯЕВА Татьяна Ивановна** — доктор социологических наук, профессор, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия), tatcher@yandex.ru
- ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна** — доктор социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), eiarskaia@hse.ru

Editorial board

Editor-in-Chief

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Editorial Team

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

Anna V. STRELNIKOVA — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru

Irina N. TARTAKOVSKAYA — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Alexandrina V. VANKE — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Editorial Board

Roman N. ABRAMOV — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rabramov@hse.ru

Roswitha BRECKNER — PhD, Associate Professor, University of Vienna (Vienna, Austria), roswitha.breckner@univie.ac.at

Zhanna V. CHERNOVA — Doctor of Sociology, Leading researcher, SI RAS — FCTAS RAS (St. Petersburg, Russia), chernova30@mail.ru

Tatiana I. CHERNYAeva — Doctor of Sociology, Professor, Saratov State University (Saratov, Russia), tatcher@yandex.ru

Michael F. CHERNYSH — Corresponding Member, Doctor of Sociology, Director, FCTAS RAS (Moscow, Russia), mfche@yandex.ru

Kathy DAVIS — PhD, Professor, Free University Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), k.e.davis@vu.nl

Elena R. IARSKAIA-SMIRNOVA — Doctor of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), eiarskaia@hse.ru

Lena INOWLOCKI — PhD, Professor, Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt-am-Main, Germany), linowlocki@fb4.fra-uas.de

Krzysztof KOSELA — Doctor of Sociology, Professor, University of Warsaw (Warsaw, Poland), k.kosela@is.uw.edu.pl

Irina M. KOZINA — Candidate of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ikozina@hse.ru

Elena L. OMELCHENKO — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg (St. Petersburg, Russia), omelchenkoe@mail.ru

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Pavel E. SUSHKO — Candidate of Sociology, Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), sushkope@mail.ru

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

Anna V. STRELNIKOVA — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru

[Irina N. TARTAKOVSKAYA](#) — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

[Alexandrina V. VANKE](#) — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Содержание

Письмо редактора	9
Полевые исследования	11
<i>Полина Яровая, Лидия Рахманова</i> На руинах сельской семьи: как пустоты поля увлекают исследователя в сети родства	11
<i>Анастасия Моисеева</i> Конструирование опыта суррогатного материнства: эмоциональная работа и профессионализация в биографическом нарративе	39
Исследовательская рефлексия	57
<i>Евгения Горюшина</i> «Как Вы это называете?»: сенситивность, сопротивление и рефлексивность в поле постконфликтной памяти Чечни	57
<i>Виктория Муха</i> Когда интервью становится «почти терапией»: границы роли исследователя в разговорах о войне и вынужденном переселении	74
<i>Елена Омельченко, Альбина Гарифзянова</i> Другое время, другое место, другие мы. Ретроспективный взгляд на сенситивность тюремных исследований	94
<i>Любовь Чернышева</i> Этика вовлеченности: исследование действием и микрополитика производства знания в активистском проекте.....	111
Социология профессий	127
<i>Natalia Bulchenko</i> Informal Gender Discrimination in Male-dominated Industries: Hidden Barriers. A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia	127
Эссе	146
<i>Нина Скороходова</i> Сенситивность «знакомого» поля: схожесть опыта и границы объективности в биографическом интервью.....	146
In Memoriam	157
Памяти Микка Титмы (1939–2026).....	157

Contents

Editor's Letter	9
Field Research	11
<i>Polina Yarovaya, Lidia Rakhmanova</i> On the Ruins of a Rural Family: How the Voids of the Field Lure the Researcher into the Networks of Kinship.....	11
<i>Anastasiya Moiseeva</i> The Making of a Surrogate Motherhood: Emotional Labor and Professionalization in Biographical Narrative.....	39
Research Reflection	57
<i>Evgeniya Goryushina</i> "How Do You Name It?": Sensitivity, Resistance, and Reflexivity in the Field of Post-Conflict Memory in Chechnya	57
<i>Victoria Mukha</i> When the Interview Becomes "Almost Therapy": Researcher's Role Boundaries in Conversations about War and Forced Displacement.....	74
<i>Elena Omelchenko, Albina R. Garifzyanova</i> Another Time, Another Place, Another Us. A Retrospective Look at the Sensitivity of Prison Studies.....	94
<i>Liubov Chernysheva</i> The Ethics of Engagement: Action Research and the Micropolitics of Knowledge Production in a Grassroots Activist Project.....	111
Sociology of Professions	127
<i>Natalia Bulchenko</i> Informal Gender Discrimination in Male-Dominated Industries: Hidden Barriers. A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia	127
Essay	146
<i>Nina Skorokhodova</i> Sensitivity of a Familiar Field: Similarity of Experience and the Limits of Objectivity in a Biographical Interview.....	146
In Memoriam	157
In Memoriam of Mikk Titma (1939–2026)	157



Письмо редактора

Заявляя тему номера «Сенситивные поля», мы предложили авторам рассказать о своем опыте погружения в непростые, труднодоступные, этически нагруженные темы, поразмышлять о дилеммах этнографичности и включенности исследователя в потенциально опасные полевые сюжеты. И обнаружилось, что данная тема оказалась крайне востребованной среди исследователей. Даже после строгого отбора количество статей значительно превышало запланированное. Поэтому в текущем выпуске журнала будет представлена первая часть подборки, и еще одна часть увидит свет в сентябрьском номере.

В этом номере встретились разноплановые рефлексивные тексты. Описание сенситивных полей сопровождается глубокой методической проработкой вопросов: до какой степени требуется вовлеченность в историю информанта? как быть, если поле «переформатирует» исследователя? можно ли использовать свою заведомо уязвимую позицию в иной этнокультурной среде? как спрашивать о том, о чем не говорят?

В рубрике «Полевые исследования» сенситивизация исследовательской работы предстает в тематике расщепленного и реконструируемого родства. Анастасия Моисеева анализирует биографическое интервью с суррогатной матерью, отталкиваясь от концепта эмоциональной работы и раскрывая нарративные обоснования родственной и неродственной привязанности в контексте профессионализации данной деятельности. Полина Яровая и Лидия Рахманова подходят к теме родства с другой стороны: в ходе длительной полевой работы «в глубинке» они обнаружили, что происходит очевидное встраивание исследовательниц в системы родственных связей местного сообщества, что приводит к различным опасностям и этическим дилеммам.

В материалах рубрики «Исследовательская рефлексия» дается яркий и насыщенный анализ исследовательских сюжетов, уникальных по своей сенситивности: опыт пережитых военных конфликтов (Евгения Горюшина, Виктория Муха), тюремные биографии (Елена Омельченко, Альбина Гарифзянова), совмещение ролей социального активиста и исследователя (Любовь Чернышева). Авторы разбирают ситуации взаимодействия с информантами, трудности доступа в нетипичные поля, стратегии проработки травмы и преодоления возможных рисков для себя и для участников исследования. Виктория Муха отмечает, что само интервью может стать почти терапией для информантов. Этот сюжет с другой стороны подхватывают Елена Омельченко и Альбина Гарифзянова, показывая, что самотерапия и взаимная терапия требуются также и самим исследователям, вовлеченным в напряженные, эмоционально нагруженные поля.

В рубрике «Социология профессий» аспекты сенситивности предстают в анализе уникальной ситуации в сфере труда — дискриминации в ранее

запрещенных для женщин профессиях. Наталья Бульченко предлагает к рассмотрению скрытые барьеры, с которыми сталкивается помощница машиниста электропоезда — единственная женщина, работающая на этой должности в одном из регионов России.

Завершая дискуссии номера, в рубрике «Эссе» Нина Скороходова рассуждает о неочевидной чувствительности «знакомых» полей, раскрывая тезис о том, что сходство биографического опыта интервьюера и информанта может не помочь, а помешать в получении исследовательских данных.

Желаем интересного чтения!

Редактор номера,
Анна Стрельникова

Полевые исследования



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.1

EDN: JVDGBW

На руинах сельской семьи: как пустоты поля завлекают исследователя в сети родства

Ссылка для цитирования:

Яровая П. Р., Рахманова Л. Я. На руинах сельской семьи: как пустоты поля увлекают исследователя в сети родства // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 11–38. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.1> EDN: JVDGBW

For citation:

Yarovaya P.R., Rakhmanova L. Ya. (2026) On the Ruins of a Rural Family: How the Voids of the Field Lure the Researcher into the Networks of Kinship. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 11–38. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.1>



Яровая Полина Романовна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: pryarovayaa@gmail.com



Рахманова Лидия Яковлевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: lrakhmanova@hse.ru

В статье мы показываем, что сенситивность поля в постсоветской этнографии сельскости обуславливается не столько чувствительностью предмета исследования, сколько особенностями деревенских ландшафтов (материальных и эмоциональных). Зачастую единственный способ провести включенное наблюдение в сельской местности — поселиться в домах информантов. При этом исследователь вселяется в пустующие пространства, оставленные детьми деревенских жителей. Мы не можем просто арендовать угол или комнату в доме: мы неизбежно включаемся в сети родства и, отвечая на ожидания и желания информантов, воспроизводим утраченные практики

родственной близости. Но, поскольку пустот в деревенском пространстве много, а исследовательница одна, ей часто приходится перевоплощаться в зависимости от потребностей поля, буквально — менять гендерные роли. Эта флюидность вступает в конфликт с последовательной и статичной идентичностью, которую ожидают от нас информанты и РПЦ. Согласно государственной и церковной биополитике, опирающейся на понятие «традиционная семья», молодая женщина неполноценна, пока у нее нет мужа и детей. Возникающее в такой ситуации напряжение (совокупность взаимных ожиданий и желаний) разворачивается в очень специфическом контексте. Это постсоветские руины деревень и храмов, семей и брачных союзов. Отношения, зияющие пустотой, провоцируют сближения, которые делают аналитическую дистанцию между антропологом и полем невозможной.

Ключевые слова: социальная дистанция; формы родства; сельская этнография; включенное наблюдение; символическое родство; биополитика

Введение

В своем манифесте «Заводите сородичей, а не детей!»¹ Донна Харауэй призывает человечество к переосмыслению понятия родства и установлению нового типа общности без привязки к кровной связи [см. более раннее обсуждение: Delaney, 1986; Schneider, 1972]. Эта общность может быть основана на единстве «плоти» всех жителей грядущего Хтулусцена — эпохи, которую автор противопоставляет Антропоцену [Haraway, 2020: 103]. Свой призыв Харауэй объясняет грядущими глобальными климатическими изменениями и экологическими угрозами. Однако нам не стоит оставаться только на уровне глобальных вызовов человечества: в России активнее других тревогу о демографическом кризисе бьет Вологодская область. По стечению обстоятельств, именно этот регион много лет является нашим основным полем исследования и домом для наших информантов.

В 2025 году в Вологодской области на законодательном уровне были запрещены аборт, губернатор Филимонов заявил:

«Над этой задачей [антиабортной кампанией] работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами»².

Этот запрет сопряжен с другими областными инициативами, включающими поощрительные выплаты за рождение детей, кампанию по пропаганде «традиционных ценностей» на патриотических форумах, призванных разработать проекты для преодоления демографического кризиса. Введение «полусухого

¹ «Make kin, not babies!»

² Губернатор сообщил, что в Вологодской области в июле не делали абортов // РБК. 2025. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6894a6ad9a794708d542b698> (дата обращения: 02.12.2025).



закона» в области — с 1 марта 2025 г. алкоголь в будние дни разрешено продавать только с 12:00 до 14:00, — губернатор также интерпретировал как меру для поддержания рождаемости, усматривая логическую связь между уровнем деторождения в Чечне и действующими в республике антиалкогольными мерами³. Пример демографической политики в Вологодской области, хоть и представлен наиболее радикальными мерами, показывает общероссийскую тенденцию, включающую утверждение в законодательстве РФ политики по «сохранению и укреплению традиционных ценностей» (среди которых в указе перечисляются «крепкая семья» и «преемственность поколений»)⁴, а также повышение с 2024 года госпошлин за развод с 600 до 5000 рублей (размер госпошлин при заключении брака при этом не изменился)⁵.

Несмотря на то что «традиционная семья» нам видится объектом изобретенной традиции [Hobsbawm, 2012], ускользящим от интерпретации, в статье мы следуем контурам этого воображаемого феномена, который формируется на наших глазах благодаря языку законодательных инициатив, описанных выше. Мы прибегаем не к многосторонней историографии вопроса репрезентации «традиционной семьи» в антропологической литературе, а только к эмному бюрократическому понятию. Как показывает длительная полевая работа, этот государственный термин достаточно силен и в воображении наших информантов, именно это обуславливает трудности и находки нашей полевой работы, связанные с родственными узами.

Структура деревенской семьи действительно переживает трансформацию: в пустеющих деревнях некогда расширенные семьи превращаются в нуклеарные, где разные поколения встречаются лишь по праздникам или на детских каникулах. В таких «умирающих» деревнях образуются пустующие ниши, некогда занимаемые детьми, покинувшими родительский дом. В статье мы используем также понятие пустоты и образ «лакуны», незаполненной ячейки, как риторический прием, который позволяет нам визуализировать отношения родства в ходе полевой работы в пространственных терминах и образах.

В наших этнографических примерах это социальное опустение оказывается существенным обстоятельством, поскольку основные «поля» наших исследований — это пустеющие отдаленные деревни на Русском Севере и в Сибири. Сельские жители на постсоветском пространстве сегодня сталкиваются с видимыми изменениями в своей повседневной жизни, а исследователи описывают их социальные миры, прибегая к метафорам руин и пустот [Dzenovska, 2019; Дзеновска, 2025, Бляхер, Григоричев, 2024]. Разрабатываемые антропологами метафоры позволяют концептуально работать именно с руинизацией, с пустотами и пространственными разрывами в буквальном смысле слова: большие расстояния между деревнями, сезонная изоляция из-за половодья,

³ Вологодский губернатор предложил способ увеличить рождаемость в два раза // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/society/19/11/2024/673be41c9a79473c39c45144> (дата обращения: 02.12.2025).

⁴ Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

⁵ Госпошлина за развод в суде в 2026 году // ZakonRu. 2025. URL: https://zakon.ru/blog/2025/8/11/gosposhlina_zh_razvod_v_sude (дата обращения: 02.12.2025).

разрушение мостов, истощение речного флота. Мы же в данной статье делаем попытку концептуально соединить важный для нас контекст материального разрушения и опустынивания с пониманием руинизации социальных отношений: внутри семей, между поколениями деревенских жителей. Руины социального в нашем случае накладываются на руины физические (разрушенный храм XIX века, остовы советских домов за рекой, отток населения из живой деревни).

Донна Харауэй, Анна Цин, Стейси Лэнгвик и другие антропологи, проблематизировавшие понятие родства в контексте мультивидовой этнографии, позволяют нам выстроить линию аргументации, в которой руина предстает как поврежденный (течением истории, природным катаклизмом) культурный/природный ландшафт. Фактически руина — это совокупность ненужных, забытых объектов и вещей, которые могут считаться мусором или стать компостом [Langwick, 2018]. Компост, в свою очередь, перерабатывает отмершее, утратившее свою функцию, в перегной для зарождения новой (социальной) жизни.

В нашей полевой работе эти ниши, или лакуны, в буквальном смысле предстают как пустующие комнаты в домах информантов, в которых некогда жили дети, — те либо выросли, либо ушли из жизни раньше родителей. Именно в таких комнатах принимающие семьи и предлагали нам поселиться на время исследования. Сформированная бытовыми условиями интенсивность включенного наблюдения порождала сильное сокращение дистанции, которая считается одним из важнейших условий для проведения антропологического исследования. И в этом сложность и уникальность наших полевых условий, характерных для сельских этнографий, в отличие от этнографий производств, куда антрополог может устроиться в качестве работника [Пинчук, 2021]. В сельской местности, где количество рабочих мест ограничено, единственная возможность получить доступ в поле — поселиться в доме информанта.

Если отойти от пространственного понимания лакун, мы увидим, что в социальных отношениях «пустота» может пониматься как результат утраченных связей (осиротение, потеря близких) или неосуществленности matrimониальных планов (положение вне брака). Выше мы говорили о пустотах в семьях информантов в контексте государственных политик и понятия традиционной семьи, которое еще требует расшифровки и критики. Но в данной статье нам важно внимательнее посмотреть на исследовательские лакуны и неполноту разного толка. Мы покажем, как на нас смотрят информанты с точки зрения нашей неполноты (буквально — неполноценности) из-за отсутствия мужа. Не менее важно и то, что за поступками, словами и представлениями информантов стоит государство с его законодательными инициативами. В этом смысле мы одновременно являемся и подходящими (как еще свободные, незамужние женщины детородного возраста), и неподходящими субъектами (как женщины с высоким уровнем образования и карьерными перспективами) для реализации демографических планов и политик областной администрации.

На примерах проявления родства (которое может возникнуть незапланированно) в пространстве дома и воплощения (присущих информантам)



политик родства мы показываем, что сближение антрополога с информантом не просто этический вопрос или «техническая» сложность в полевой работе. В процессе сближения раскрываются свойства родственных уз, архитектуры дома, доверия и дистанции.

Таким образом, два фактора: геометрия пространства дома и родственные связи, — формируют позиционность [Abu-Lughod, 2008], влияющую на нашу исследовательскую оптику и наш образ, который складывался у информантов. После культового сборника Клиффорда и Маркуса [Clifford, Marcus, 1986; Clifford, Marcus, 2023] появилась тенденция интерпретировать отношения «антрополог — информант» как отношения власти пишущего над теми, о ком пишут (writing power). В российской антропологии этот вопрос также не остался незамеченным: Александр Панченко соотносит отношения антрополога и информанта в процессе интервью с ситуацией допроса, построенного на «механизме целенаправленного захвата информации» [Панченко, 2001: 9]. Наша же этнография построена не на принудительно «добытой» информации, а на случайных полевых ситуациях, где наша роль исследовательниц зачастую отходила на второй план в череде бытовых взаимоотношений с информантами. Потому в этой статье мы не оспариваем значение той власти, которой наделяет нас антропологическое письмо, но хотим обратить внимание на случаи, когда антрополог становится субъектом ожиданий, фантазий, планов информантов в условиях руинизации деревень, которые государство пытается реанимировать через различные биополитические риторики и практики.

Как формируется пустота и способы ее восполнения

Возможность проживать совместно с информантами сделала наше включенное наблюдение более интенсивным и ускорила осмысление друг друга в терминах родства. Занимая место детей в семье сельских жителей, мы часто не имели навыков, чтобы выполнить ту работу, которой учат в деревне с раннего возраста, — так мы становились учениками наших информантов. Этот случай ученичества не уникален с методологической точки зрения, но можно с уверенностью сказать, что для нас, исследовательниц постсоветской новой сельскости [Мельникова, Куприянов, Лурье, 2025], условия проживания в деревенском доме были не просто контекстом, а пространством, геометрия которого направляла развитие социальных отношений.

Дом, равно как и географию деревни бороро, описанную Леви-Строссом, можно помыслить как визуализированную схему родства с определенными для каждого члена семьи пространствами [Levi-Strauss, 1955]. Дом — это и микрокосм взаимно формирующих друг друга пространства и практики, как в кабийском доме в исследовании Бурдые [Bourdieu, 1990], и некая воплощенная в материальности интерьера летопись, внимательно прочитав которую, антрополог может реконструировать события из жизни информантов, их привычки и сантименты [Carsten, 2018]. Сама возможность встроиться в структуру родства была обусловлена наличием пустоты, образовавшейся

после переезда или утраты родителями своих кровных детей. Похожий опыт описывала Джин Бриггс, которую удочерили информанты, социально и символически поместив ее на место дочери, уехавшей учиться в интернат; второй опцией для Бриггс было удочерение в бездетную семью [Briggs, 1971], в которой лакуна не опустела, но никогда ранее не была заполнена.

На примере автоэтнографии Бриггс мы видим, что для полевого исследования на правах удочеренной необходимым условием является пустующее пространство. Пространства комнат, которые мы занимали в домах информантов, не были совершенно пустыми, они несли в себе историю родства, которое проявляло себя и разворачивалось на этом месте несколькими годами ранее. Но чем дальше шла полевая работа и чем дольше мы обживали «детские» комнаты, тем больше следов оставляли и мы в этой домовой летописи, расставляя свои личные вещи по соседству с вещами наших случайных сиблингов-двойников. Так и Беатрис Хареги описывает постепенное принятие ее в «семью сотрудников» полицейского участка в Индии [Jauregui, 2017] и показывает, что автоэтнография важна для размышления о методе исследования в полужакрытых полях.

Специфика нашего отношения с тем, что является полевым материалом, лежащим в основе аргумента статьи, определяется прежде всего длительным включенным наблюдением. Ни в одном из исследовательских проектов, примеры из которых мы приводим в статье, метод биографического или полуструктурированного интервью не доминировал. К тому же было бы странно спрашивать о таких интимных вещах «в лоб». Кроме того, темы, рассматриваемые в статье, изначально не были в фокусе наших исследований. В данном тексте мы впервые собрали созвездие неожиданных, смущающих нас и информантов обсуждений, которые были инициированы самими информантами. В этом — методологическая особенность, ценность логики предлагаемой статьи.

Однако читатель может интерпретировать это как анализ случайно выбранных эпизодов. Так ли это и насколько эмпирический материал способствует пониманию процессов вернакулярных символических политик вокруг феномена родства? Мы исходим из положения о том, что не только прямые цитаты могут выражать голос информантов: их поступки не менее «говорящие». В нашей статье мы балансируем между цитированием непосредственной речи информантов, в которой отражаются их взгляды, и поступками, предпринимаемыми действиями, которые мы наблюдали и могли этнографически ухватить в череде происходящих событий. При этом самым информативным и, одновременно, зыбким источником нашего анализа являются мечты — невысказанные, невоплощенные, но проявившиеся в оговорках, нелепых ситуациях, случайных репликах. Это не только эмоциональные и импульсивные желания информантов «сосватать» нас своим родственникам, но и будто бы продуманные и рационализированные планы на включение нас в сети родства с другими деревенскими жителями и участниками церковной общины.



В тексте нашей статьи, построенной на диалоге и компиляции различных сюжетов из полевой практики двух исследовательниц, реплики Полины Яровой обозначаются как [П.Я.], реплики Лидии Рахмановой — как [Л.Р.].

[П.Я.]: Удочерение исследовательницы в статусе сына

Весь 2025 год я прожила в деревенском доме семейной пары Глафиры и Юрия. В январе, когда я только приехала в их дом, Глафира сказала мне, что сначала мы посмотрим, сможем ли ужиться и провести вместе целый год. Юрий не знал, что я приехала к ним на такой долгий срок, и очень удивился, когда Глафира сказала ему об этом через неделю. С этой семьей мы были знакомы уже год: в феврале 2024 года я попала в этот дом, когда предприняла попытку получить доступ в новое поле (семья уже десять лет занимается восстановлением церкви в соседней заброшенной деревне), а затем, как и обещала в феврале, летом привезла с собой друзей для помощи на стройке.

Мой интерес, кроме исследовательского, был еще и личным. Побывав вместе с экспедиционной группой в Б., заброшенной деревне с церковью, в 2021 году, я три года мечтала о возвращении в ту деревню, видела ее в сновидениях и представляла, как мы с друзьями будем жить в тех заброшенных домах рядом с церковью. Тогда я еще ничего не знала о жителях соседней деревни В., о Глафире и Юрии, центральных фигурах в проекте восстановления церкви. На большую удачу наши интересы совпали, тогда была налажена первая личная связь с этой семейной парой — через помощь в деле, которому они посвящают свою жизнь последние годы. Но, несмотря на такое совпадение, предложение моего научного руководителя поселиться в доме Глафиры и Юрия на год для изучения быта православной семьи, занятой восстановлением церкви, меня скорее напугало: как это целый год прожить в доме с чужими людьми?! Кроме того, я даже не знала, как сформулировать такую просьбу, и несколько месяцев готовилась к разговору с Глафирой.

Глафира сказала, что во время холодов я могу жить на пустом втором этаже их деревянного дома, а когда потеплеет — поселиться в их втором маленьком домике, то есть поначалу семью моих информантов тоже, вероятно, несколько пугала перспектива весь год жить под одной крышей. Однако, как мы увидим далее, переезд не потребовался. С приходом весны я осталась на втором этаже, где и прожила весь оставшийся год. О чем это может сказать с точки зрения отношений родства? «Уживание»⁶, комфортное совместное сожительство, стало определяющим фактором в развитии наших отношений, которые внутри одного дома оказались более «родственными», чем если бы я жила отдельным бытом в маленьком доме, самостоятельно бы топила русскую печь и отдельно готовила бы себе пищу. В условиях же одного дома мы полностью делили быт, я умывалась на кухне у единственной раковины

⁶ Для участников отношений, основанных на биологической связи или свойства, «уживание» не является таким определяющим фактором для воспроизводства родственных отношений — люди часто склонны ссориться со своими родными, но от этого родные не становятся чужаками. В случае же встраивания в родственные сети информантов способность «ужиться» с ними на одной территории выступает необходимым условием.

в доме, пока Глафира готовила нам завтрак. После завтрака я часто выходила на улицу работать вместе с Юрием, ремонтировать различный транспорт, мастерить купол для колокольни в деревне Б., а в перерывах от работы мы вместе с ним шли в дом обедать или пить чай.

Жители всего района обращаются к Юрию за помощью по ремонту автомобилей, вытачиванию на токарном станке металлических деталей и даже по реставрации икон. Меня как исследовательницу интересовала работа Юрия, социальные сети, в которые он включен, будучи руководителем и единственным постоянным исполнителем проекта по восстановлению церкви⁷. Кроме исследовательского интереса, у меня был и личный: мне очень нравилось выполнять подсобные работы, помогать Юрию закручивать многочисленные гайки, чистить старые коробки передач для установления на самодельные транспортные средства. Моя инициатива радовала обоих супругов, они говорили, что из-за непростого характера Юрий сработался только с Борисом из соседней деревни и со мной.

Часто Юрий говорил, подмечая мой интерес к «мужской работе»: *«Тебе нужно было парнем родиться»*, — и вспоминал, что когда-то учил тому, чему учил меня, своих уже взрослых сыновей. Так он говорил, когда показывал мне, как управлять снегоходом, трактором и мотоциклом. Когда же я научилась многим разновидностям «мужских работ», например заколачивать гвозди и крутить гайки, и даже просверлила на токарном станке несколько деталей для купола, Глафира и Юрий хвастались моими успехами перед другими жителями деревни, хвалили меня за инициативу. Тогда же я начала слышать от них и от других деревенских вопрос: *«И зачем тебе будет мужик? Ты сама уже все умеешь»*. В ходе полевой работы я не сразу осознала, что это положение «на все руки мастер» или «умелица» отсылает к образу дивидуального субъекта [Strathern, 1988], который в домохозяйстве способен исполнять в равной степени женские и мужские обязанности. Уже после завершения поля стало очевидно, что мы в поле гораздо чаще являемся дивидами, нежели наши информанты. Моя коллега описала опыт мужчин в таежных избушках, которые в этом микрокосме тайги обладали распределенной агентностью [Рахманова, 2024; Gell, 1998] и свойствами дивиды. В этой совместной статье здесь и дальнейших разделах мы смотрим не просто на трансформации идентичности исследователя в процессе полевой работы, но на дивидуальность антрополога и то, как этот вопрос оказывается гендерно окрашенным [gendered].

«Женской работой» я занималась редко, например, я никогда не мыла посуду, так как еще в начале моего полевого года Глафира сказала, что ей нравится самой это делать, потому что она «водолей» по гороскопу. Изредка я могла пожарить картошку или яйца, помочь почистить овощи, но, как правило, Глафира справлялась со всеми своими делами еще до того, как я успевала предложить помощь. По-родительски Глафира заботилась о том,

⁷ Восстановление церкви выросло в проект во многом после вмешательства меня и моих друзей в эту стройку, когда мы стали ее постоянными участниками — не только подсобными рабочими Юрия, но и жертвователями на стройматериалы.



чтобы я успевала сделать свои рабочие дела — провести онлайн-уроки английского с моими учениками, сделать записи в полевом дневнике. Иногда я чувствовала неловкость от того, что мало делала по дому, так как в своей семье я привыкла, что у меня были прямые обязанности, например еженедельная влажная уборка. Здесь же моей прямой обязанностью (или скорее желанием, которое мне трудно назвать долгом) была работа с Юрием.

В первые месяцы мне казалось, что я утруждаю супругов своим присутствием, но потом все чаще они стали замечать, что я сподвигаю их на дела. Так, они говорили, что стремятся сделать больше работ для церкви, чтобы мне «было что изучать». Еще Юрию было спокойнее уходить на смену в местную пожарную часть, где он работает с графиком 1/3, зная, что Глафира остается дома не одна.

У Глафиры и Юрия трое родных детей: старшая дочь (42 лет), средний (36) и младший (26) сыновья. Все они живут в разных местах и с разной периодичностью навещают родителей со своими детьми. Когда-то на втором этаже жили они, там осталось много их вещей, ноутбук, одежда и другие предметы, которые не нужны им сейчас в тесных городских квартирах. Время от времени, разбирая вещи, Глафира отдавала какие-то мне, например, две пары армейских штанов среднего сына я носила весь год, так как они больше всего подходили для «мужской работы». Когда же мы с Глафирой шли на праздничные мероприятия в библиотеку (на мероприятия в деревне ходят только женщины), она гладила и давала мне рубашки и пиджаки своей дочери. Через вторичное использование этой одежды я как бы осуществляла функцию компоста [Langwick, 2018: 433], который, пропуская через себя старые вещи, обновлял идентичность родителей, внезапно обретших новую дочь. Потому можно понять мое волнение, когда дети Глафиры и Юрия приезжали к родителям: я боялась, что они могут отнестись ко мне с недоверием или даже ревностью, увидев, что я ношу их одежду и живу в их комнате. Но наши отношения складывались хорошо, они принимали меня с той же легкостью, с которой приняли меня их родители, и посмеивались из-за моего вида в выданных армейских штанах, фуфайке и шапке-ушанке. Эта одежда придавала мне особенно деревенский вид — в точно таком же виде ходили все мужчины деревни. Получается, я ничем не выделялась в ландшафте деревни, облаченная в старую и не востребовавшую одежду детей Глафиры и Юрия, и переживала «становление другим», что способствовало интеграции в поле. Единственное, что выдавало меня как чужака, — мои красные валенки, которые среди деревенских вызвали много вопросов к моей полевой семье. Однажды Юрий даже высказал недовольство в адрес вопрошающего, защитив меня: «Какая разница, что красные!»

Глафира и Юрий относились ко мне, как к своей дочери (или сыну), например, хозяйка крестила меня крестным знаменем перед тем, как мы с ее мужем уезжали на снегоходе работать в Б., который находится через реку; просила позвонить, когда я доеду до Вологды, в те разы, что я уезжала из деревни. Тогда я звонила и своей родной маме, которая тоже всегда просит оповещать ее о моих перемещениях, и моей «полевой маме». После того как я покинула

поле, Глафира звонила мне и просила помолиться за ее родственников, племянницу и внуков, сама же она, посещая церкви, поминает меня в записках за здравие, «как своих детей».

Указания на использование Глафирой и Юрием нарративных конструкций, в которых они сравнивают меня со своими родными детьми, недостаточно для утверждения, что символическое родство с ними было установлено. Едва знакомые пожилые люди часто обращаются к молодым, называя их «дочка», «внучка», «сынок», но в случае с Глафирой и Юрием это сравнение подкрепляется практиками заботы, которые часто фигурируют в отношениях родителей и детей. Здесь и далее мы постоянно будем «сверять часы» и задаваться вопросом, не превалируют ли в анализе отношений родства наши чувства, интерпретации и «желание видеть» сродство там, где для информантов его не существуют. В данном случае мой аргумент опирается на наблюдаемые поступки, которые мне как недавно «удочеренной» иногда казались нехарактерными для неродственных отношений.

[Л.Р.]: Жизнь в комнате умершего сына и нежданное материнство

Несколько иначе происходило мое погружение в жизнь семьи рыбаков в Западной Сибири. В этой семье я прожила бок о бок месяц в 2017 г. С тех пор на протяжении семи лет я навещала моих дорогих хозяев, ставших мне за это время родными: супругов и их внучку, которая росла на моих глазах и к настоящему моменту уже поступила в колледж. Мое поле не было «годовым», оно похоже скорее на лоскутную этнографию [Günel, Varma, Watanabe, 2020] с точки зрения темпоральности полевой работы. Однако оно позволяло видеть трудности семьи и то, как деревенские жители переживают трансформации отношений с родственниками в течение нескольких лет.

Домохозяйство моей «полевой семьи» было сложносоставным: слева от входа в дом, за высоким порогом, находилась «изба», служившая кухней и столовой. Направо от входа располагался вход в жилые комнаты: гостиную и две спальни. В одной из них меня и поселили летом 2017 года. Стоит отметить, что внутреннее пространство делилось на части не дверьми, а пустыми дверными проходами, в которых были развешаны модные в 1990-е годы шуршащие пластиковые бусы. Ранее я размышляла о том, какой режим интимности и открытости создавали такое расположение комнат и отсутствие дверей [Рахманова, 2018]. В данном случае я бы хотела развить описание полевого опыта в направлении «жильцов» дома — и настоящих, и бывших.

Добросердечная хозяйка сказала, что я могу чувствовать себя как дома и свободно переодеваться (кровать и сама комната просматривались прямо от входной двери в жилые комнаты). На стене висел портрет молодого человека. Тогда я подумала, что это их сын, который вырос и уехал в город учиться и работать. В тот же вечер я узнала, что человека, изображенного на портрете, уже нет в живых: он умер от употребления некачественных спайсов в возрасте 28 лет. Сын был желанным, последним ребенком, которого родила Юлия. В тот год мне тоже исполнилось 28, неделю назад.



Когда я услышала эту историю, меня прошиб холодный пот: из-за параллелизма возрастов пространство памяти, комната, которую безутешная мать сохраняла, не меняя мебель и положение вещей, — все казалось мне ледящим душу. С этого момента вся моя эмоциональная работа в качестве полевой исследовательницы зависела от того, насколько психологически устойчивой я смогу быть каждый день, находясь в непрерывном символическом диалоге с умершим сыном, комнату которого я занимала.

Сопоставляя мою ситуацию с тем, как коллега занимала детские комнаты и носила старую одежду детей хозяев дома, — я понимаю, что в моем полевом опыте возникали совершенно другие вызовы на пути к «удочерению» и иными лакунами в социальной структуре семьи. Помимо погибшего младшего сына у хозяйки было две дочери. Одна из них была в разводе с мужем и мало внимания уделяла своей дочери, поэтому бабушка опекала 11-летнюю внучку. Муж хозяйки не был отцом ее дочерей и сына, своих детей и внуков у него не было; поэтому с особой любовью он относился к 11-летней внучке.

На каникулах девочка весь день проводила у дедушки с бабушкой. В чередке скучных будней деревенских детей мой приезд был в диковинку. Она привязалась ко мне: в первые же дни стала проситься остаться с ночевкой в бабушкином доме, в одной со мной кровати. Мать, которая была только рада освободиться от забот, не возражала. Совершенно неожиданно ревность к моей близости с внучкой проявил дедушка, который всей своей любовью и вниманием пытался преодолеть его небиологическое «дедовство». В этих шатких отношениях родства между Игорем и внучкой Настей мне, казалось бы, легко было встроиться на место отсутствующей матери девочки, тем более что бабушка была готова меня удочерить. Однако будучи оба (Игорь и я) небиологическими родственниками Юлии и Насти, мы оказались друг другу конкурентами в этих эмоционально нагруженных отношениях.

И все же расположение и дружба с Настей мне помогли, и не раз: девочке было интересно, что за интервью я провожу. Она всюду меня сопровождала, рассказывала последние сплетни и, пока я беседовала с кем-то, сидела на качелях на детской площадке, ожидая. Видя интерес внучки к моим странным этнографическим исследованиям, дедушка Игорь, изначально скептически настроенный в отношении моего проекта, решил довериться и поддержать мое исследование. Большую часть месяца я, собственно, ожидала этого момента истины: наконец он взял меня с собой на ночную рыбалку, которая была опасна, трудна и имела целью обойти инспекторский контроль. Так сдвиги в родственных связях с информантами открыли мне совершенно уникальные аспекты жизни рыбацкого сообщества.

Тем не менее, если мы посмотрим на «карту» отношений в этой семье, то увидим следующее. Во-первых, я оказалась заменой умершего сына, появившись в семье в возрасте, когда он погиб; во-вторых, я играла роль приемной матери для девочки, недополучавшей материнской любви, дочери для ее бабушки и непонятной «невестки» для ревнивого и любящего дедушки.

В этом примере мы видим сложную межпоколенческую структуру, которая обуславливает многообразие моих квазиродственных статусов в принимающей семье. Однако в нем не так много гендерных перевертышей и трансформаций, как мы покажем далее на следующих примерах.

От заполнения пустоты к гендерной флюидности исследовательниц

Степень интеграции определяет, что мы можем узнать и впоследствии записать, будь то позиция отстраненного наблюдателя, коими выступали Малиновский и Леви-Стросс в своих полях, или положение «удочеренной» эскимосской семьей Джин Бриггс. Как и Бриггс, мы оказались менее отстраненными и получили возможность узнать больше о том, что значит семья для наших информантов (на уровне не только представлений, но и практик родства), став на некоторое время ее частью. «Традиционная» структура семьи включает мужа, жену, детей, (внуков) деревенский дом, хозяйство; сегодняшние обстоятельства сельской жизни связываются с разрывом этой структуры: многочисленными разводами, низким уровнем деторождения, переездом молодежи в города, отсутствием подсобного хозяйства. В традиционной (и изобретенной) структуре важны иерархии и четко определенные гендерные роли. Поэтому вакантность ролей и функций в «традиционной» системе родства и семейного хозяйства мгновенно становится видна исследователю. Маркером этой эмоциональной и социальной нехватки в разных случаях может быть ревность, обида или, напротив, чрезмерная нежность и забота. В подобной динамичной ситуации, когда постоянно что-то забывается, выросшие дети уезжают из деревенских домов и от своих родителей, когда крыши храмов и старых изб проваливаются, — наша исследовательская позиция не просто не является нейтральной.

Мы обязаны рассмотреть все наши «невинные» полевые интервенции во время исследований как существенный вклад в процессы заполнения этих пустот, в процессы прорастания отношений и зданий на руинах. Например, гендерные роли определены не так четко, как мы ожидали, когда включались в некую «гендерную» игру. Иногда в доме информантов мы могли быть и дочкой, и сыном, потенциальной невесткой или матерью, «таежной женой» и гувернанткой для внучки, претерпевая трансформации собственных идентичностей.

Стоит отметить, что женщины в поле чаще получают доступ к женской стороне жизни сообщества [Strathern, 1988], чем к мужской. Эти взгляды, мысли, практики представляют собой «частичную правду» (partial truth), доступную для взгляда из конкретной позиции [Clifford, 1986]. Однако гендерная флюидность, которая даруется исследовательнице в поле, может расширить спектр наблюдаемых взаимоотношений за пределы исключительно «женских» или «мужских» зон, особенно когда исследовательница заполняет пустоты, приобретая то одну, то другую идентичность в зависимости от того, чего от нее требует поле.



[П.Я.] Карнавал на колокольне

В предыдущем разделе я затронула гендерный аспект моего встраивания в семью Глафиры и Юрия: большую часть времени в их домохозяйстве я практиковала «мужское поведение», работала на стройке, почти не выполняла «женской» работы внутри дома. Мое гендерное поведение было распределено в пространстве, в зависимости от того, что от меня требовалось. Отправляясь на мероприятия в клуб или библиотеку, я наряжалась, как подобает девушке, возвращаясь домой, я возвращалась и в свои армейские штаны, удобные для работы. Однако это распределение я не могу назвать правилом, так как внутри этих распределенных пространств, внутри лакун, которые я заполняла иногда ввиду необходимости, всегда оставалась возможность для сиюминутного переключения, для практик, которые приводили в действие рычаг, напоминающий моим информантам, что я молодая незамужняя женщина.

Иногда, когда мы с Юрием ездили по делам в соседние деревни и встречали его знакомых, он в шутку говорил им, что я его внебрачная дочь: «Только Глафире не говори», — добавлял он к этой реплике. Случалось, что эта схема родства трансформировалась. Например, в один из первых месяцев моей жизни в деревне С. сказал мне, когда я пришла к нему в пожарную часть, что его друг из соседней деревни, которому он рассказал, что у них живет «девушка из Санкт-Петербурга», предостерег его: «Смотри не влюбись». Этот разговор взволновал меня тогда, и я переживала об этом еще неделю, вспоминая предостережения коллеги, с которым я делилась своими опасениями о грядущем годе в поле [о динамике рефлексии и переписке с научным руководителем о полевой работе см. Serwonka, Malkki, 2007]. К счастью, эта шутка осталась шуткой, а с Юрием мы стали близкими друзьями. Но подобного рода шутки могли возникнуть внезапно и со стороны самих Глафиры и Юрия: я все еще оставалась девушкой в их глазах, когда Юрий учил меня водить трактор. Тогда Глафира в шутку после нашего возвращения домой могла сказать: «Молодых на тракторе катаешь». Мне кажется, что в определении моего лавирующего гендера супруги исходили из установившихся в деревне практик и тропов: мужчины крутят гайки — значит, я как мужчина; мужчины катают женщин на тракторе — значит, я как женщина. Находясь значительную часть времени в поле в статусе «мужчины» я, таким образом, избегала любых «напряжений» романтического характера, оставляя возможность невинно подшучивать над моим женским влиянием на мужчин в поле, но не более того.

Наиболее ярко моя гендерная флюидность проявилась в день установления креста на церковь в Б.: финальные строительные работы на колокольне продолжались в момент службы, которую вел посетивший деревню по этому случаю епископ. Строительные работы на самой верхней точке храма осуществляли мы втроем: Юрий, его постоянный помощник Борис и я. Другие мужчины деревни, преимущественно пенсионеры, опасались забираться по неустойчивым лесам на такую высоту, поэтому мне нужно было пребывать в нескольких местах одновременно: и в самом храме на торжественном богослужении, документируя события на фотоаппарат и участвуя в таинствах, и на верхушке колокольни, устанавливая конструкцию для поднятия креста.

Перемещаясь с одного места в другое, я на ходу надевала поверх рабочих армейских штанов длинную юбку и укрывалась платком, чтобы войти в храм, а через несколько минут, когда Юрий и Борис снова звали на подмогу, я выбегала из храма и, снимая юбку и платок, поднималась наверх. Этот фокус с переодеванием я проделала по меньшей мере шесть раз.

В пространстве церкви тогда разворачивалось карнавальное действие — мой переход из мужчины в женщину и обратно [Бахтин, 1965]. Одежда выступала в роли маски, которая высвобождала меня из фиксированной идентичности и определяла мою женскую или мужскую природу в поле социальных событий, происходивших в церкви, пространства с очень строгой гендерной иерархией и соответствующими правилами. В отличие от Бахтина, который осмыслял карнавальные переодевания как альтернативный режим социального бытия, Гоффман считал, что переодевание нормализовано, оно не разрушает порядок, но поддерживает его [Гоффман, 2000]. Мое переодевание обеспечивало именно «нормальное» функционирование нескольких сегментов постсоветского церковного пространства, находящегося на стадии восстановления из руин: стройки на колокольне и богослужения внутри храма. На колокольне без меня не доставало рабочих рук, поэтому я заполняла эту нишу, облачаясь в свою мужскую идентичность; на богослужении не хватало меня как православной христианки и фотографа, а также — полевика, тогда я возвращалась в свою женскую ипостась. Разрыв нормы в пространстве праздничного богослужения произошел бы как раз в том случае, если бы я заползала на строительные леса в юбке или заходила в храм в армейских штанах.

Таким образом, именно неопределенность моей гендерной идентичности в тот момент, моя дивидуальность, рассеянная в пространстве [Рахманова, 2024], способствовали тому, чтобы все лакуны (которые не могли заполнить другие участники события) были заполнены и крест был в этот день установлен. Однако моя идентичность «девушки» не оставила меня совсем и на колокольне: когда мы с Юрием и Борисом с большим волнением зафиксировали крест внутри конструкции купола, то, переполненные эмоциями, обнялись и поцеловались в щеки, почувствовав катарсис момента, к которому шли долгие месяцы, работая над конструкцией. Немного позже Глафира в шутку сказала, что Юрий «обнимался с молодой» на колокольне. Выходит, что вне зависимости от моей идентичности, изменение которой требует от меня полевая практика, она никогда не фиксируется полностью, но всегда есть место шутке, которая может подорвать любую из идентичностей.

[Л.Р.]: В тени молчаливых биополитик информантов

Является ли гендерная флюидность, описанная выше, проблемой или возможностью? Опасностью или привилегией? В двух следующих примерах я покажу, как устойчивость гендерной идентичности исследовательницы выступает опасным оружием, которое находится в руках информантов. Я обращаюсь к ситуациям, в которых только в финале мы наконец понимаем, что не могли и не можем контролировать восприятие нас членами изучаемого



сообщества. Эти представления, образы сродни идеалу «традиционной русской (православной) семьи», о чем мы писали выше. Глубокое погружение в поле, принятие тебя в сообщество и семью информантов предполагают стабильность статуса. Однако в некоторых случаях я бы предпочла карнавальную гибкость, нежели ригидную идентичность молодой женщины в сельской общине.

Поскольку я интересуюсь различными аспектами консолидации сообществ (в том числе в социальных сетях), стремящихся возродить традиционный деревенский уклад жизни в постсоветской России, с 2015 по 2020 год я состояла в онлайн-группах, посвященных этой тематике, горожанам, переезжающим в глубинку, и молодым людям, возвращающимся на малую родину после столичной жизни. В одной из групп был мужчина, который заметил меня, посчитав, что наши идеалы схожи. Он написал мне в личные сообщения, заинтриговав тем, что хотел бы проконсультироваться насчет своего образовательного проекта в деревне и найти грантовое или спонсорское финансирование. Поскольку в силу профессиональной деятельности я уже несколько лет консультировала НКО по написанию проектных заявок и проведению предпроектных исследований, я откликнулась на запрос и согласилась помочь на безвозмездной основе.

Связь в удаленной деревне, где мужчина хотел развивать свой проект по образованию и трудоустройству в сфере деревообработки, была нестабильной. Чтобы часами рассказывать мне о проекте, собеседник приобрел сим-карту другого оператора, создав между нами выделенный канал связи. Изначально он представлял себя под псевдонимом, а на аватарку установил фотографию советского актера. После начала консультирования по проекту я обязала его «выйти из тени», показать свое настоящее имя и лицо.

Прошло четыре месяца. Я давала рекомендации, работала с черновиком заявки и приглашала приехать на семинар НКО в райцентр, чтобы познакомиться очно. Однако мужчина придумывал отговорки, включая ледоход и половодье, и не решался на личную встречу. В преддверии 9 Мая он обратился ко мне с просьбой «по-родственному» дать совет его родной дочери, девятикласснице, поскольку он знал, что я музыкант-любитель. Она исполнила песню военных лет и отправила ее на конкурс в ковидную весну 2020 года. Так через видео я познакомилась с его дочерью, он подробнее рассказал о своей семье, предстоящей свадьбе старшей дочери и о том, что грантовый проект и его реализация невозможны без опоры на его взрослых двадцатилетних сыновей, которые продолжают дело отца.

Общение по поводу проекта постепенно сместилось в сторону все больших откровений в отношении наших с ним семейных контекстов и личных отношений. Однажды во время телефонного разговора собеседник предложил мне пройти тест на понимание супружества. Он отметил, что жених старшей дочери прошел тест достойно и именно на этом основании он дал благословение на брак. Свадьба же должна была состояться в июле, в селе, куда я планировала отправиться со студенческой группой: фактически я получила приглашение стать гостьей свадьбы и наконец увидеть моего загадочного

собеседника вживую. Тест состоял из проективной методики, в основе которой была дана социальная ситуация.

«Мать и дочь живут на отдаленном хуторе. В 8 километрах от их избы — большая деревня. Сын возвращается с театра боевых действий, отслужив в горячей точке. Он приходит истощенным, озлобленным, жаждущим мирских наслаждений, любви, утех, веселья с алкоголем. До ухода на военную службу он был известен как драчун, конфликтер и как человек, теряющий контроль от выпивки. Парень приходит зимой в избушку, сухо здороваются с сестрой и матерью, бросает вещи и сообщает, что пойдет пешком на танцы в соседнюю деревню. Мать и сестра понимают, каковы могут быть последствия этого визита в Дом культуры.»

Далее собеседник ставит вопрос испытуемому: если бы ты была сестрой, что бы ты сделала?

Я отвечаю: попыталась его отговорить, предложила ему ужин, заботу, истопила бы баню...

Собеседник: пойми, глупая! Он пришел из армии, у него голод, ему неинтересны ваши женские нежности. Он непреклонен.

Я: Попыталась бы удержать его на пороге руками, обнять...

Собеседник: Он толкает тебя и пинает ногой и выходит за порог.

Я: Побежала бы за ним, накинув что-то теплое сверху.

Собеседник: Он видит, что ты не понимаешь, избивает тебя, ты лежишь на снегу, нога повреждена.

Я: Если бы я не смогла бежать за ним, то осталась бы и молилась за него...

Собеседник: Ты не прошла тест! Ты не боролась до последнего! А знаешь, что ответил будущий муж моей дочери (ему предлагали роль младшего брата в этом тесте)?.. Он сказал: «Я бы пополз за ним по снегу со сломанной ногой». Вот истинная любовь! Вот за такого человека надо выходить замуж!»

Меня поразил этот разговор, и, как я опасалась, на этом история не закончилась. Через некоторое время собеседник озвучил мне свое истинное намерение: он предложил переехать в их поселок, сообщил, что в его распоряжении есть отапливаемая квартира. Также он предложил мне работу в местной школе, поскольку у меня есть навыки преподавания, и роль в образовательном проекте, связанном с деревообработкой, на который он планировал получить грант. Отбросив все иносказательные выражения, он предложил мне стать его второй женой и завести совместных детей. Для убедительности он сообщил, что страдает без возможности подержать на руках маленького ребенка, а его пятеро детей слишком подросли. Жена не может более рожать и дала согласие на отношения со второй женой с целью рождения ребенка. Он выбрал меня, потому что нашел меня в тематической группе, а также ознакомился с моими профессиональными компетенциями, которые могут быть полезны его проекту в будущем (исследовательница и педагог). В завершение он описал



гарантии: «И знай, что если я даже умру, мои взрослые сыновья позаботятся о тебе, ведь ты будешь матерью их маленького братика или сестренки!».

После этого объяснения наше общение и консультации по моей инициативе были прекращены. Меня поразило, что пять месяцев человек терпеливо искал профессиональные и ценностные пересечения для того, чтобы замаскировать истинный интерес, связанный с деторождением и биологическим отцовством. Важно, что неожиданный исход истории был предопределен моей чрезмерной мимикрией и интегрированностью (ценностной, эстетической, поведенческой, интеллектуальной) в сообщество радетелей о возрождении русских деревень. Именно чрезмерная включенность привела меня к той гротескной ситуации, в которой я, будучи консультантом и исследователем, получила предложение фактически стать окультуренным инкубатором в контексте биополитических представлений моего информанта.

Эта история наглядно показывает, как наш гендер, физические данные, способность к прокреации позволяют нашим информантам помещать нас, антропологов, в свои планы и проекты. Подобно тому, как антропологи оправдывают интервенцию в поле помощью информантам или разными формами активизма, мужчина, ищущий вторую жену, прикрывал свои мечты о рождении нового (биологически с его генами) ребенка тем, что расписывал в красках социокультурный проект! В этой истории, признаться, я увидела себя и нас в кривом зеркале.

Однако одно дело, если гражданин страны желает стать отцом в шестой раз и не видит социальных преград перед фактически многоженством, но совсем другое дело, когда речь идет не о добродетели рождения детей, а о репрезентации абортов как асоциального, общественно опасного поведения. Предваряя разговор о биополитических аспектах родства в полевой работе, я предлагаю обратиться к этнографическому примеру, в котором православный священник проводит «духовную беседу» и дает поучение о благе материнства девушкам-антропологам в завершении их исследовательского интервью.

Увертюра к биополитической трагикомедии

[Л.Р.] О грехе прерывания родственных связей: антиабортная проповедь на интервью

Знакомство с отцом Сосипатром⁸ произошло еще в 2019 году, в ходе зимней десятидневной практики студентов. Первое интервью и встреча заложили основу этих непростых отношений с иереем: он стал одним из ключевых информантов в последующих экспедициях и по сей день определяет религиозно-политический контекст диссертационного исследования коллеги

⁸ Имя Сосипатр происходит от греческих слов *sozo* (спасать) и *pater* (отец). Поскольку герой нашего исследования чрезвычайно озабочен спасением русской деревни и преодолением национального демографического кризиса, в целях анонимизации будем называть его в тексте о. Сосипатр, что буквально переводится как «отец, спасающий отца». Данное имя выбрано не случайно, так как отражает контекст символического и духовного родства.

и отношения с семьей ключевых информантов. Я попросила содействия в организации интервью с батюшкой о влиянии православных канонов и традиций на представления молодых людей в провинции о браке и семье.

Интервью развивалось предсказуемо, интонации студентки позволяли священнику чувствовать, что к нему обращаются как к эксперту. Когда вопросы иссякли, он оживленно спросил: *«Ой, я ж забыл! У нас из епархии пришли эмбрионы как раз для антиабортной проповеди! Хотите, покажу?»* Мы растерялись и послушно проследовали за ним в церковную лавку. Распаковав коробочку, священник достал муляж эмбриона (*«здесь он девятидневный!»* — уточнил священник) и вложил мне в ладонь. *«Потрогайте! Чувствуете, какой теплый, как живой?! Он принимает тепло ваших рук. Я думаю, если бы каждая женщина в России подержала в руках такой эмбрион, она бы никогда, ни за что не сделала бы аборт после этого!»*

[П.Я.] Антрополог как проектировщик епархиальной биополитики

В отличие от моей коллеги, я не сталкивалась с таким серьезным давлением и посягательством на мою репродуктивную функцию со стороны информантов. Тем не менее я оказалась и в роли субъекта биополитических представлений и ожиданий, и в роли потенциального агента биополитики. Моя коллега стала объектом биополитического плана отца Сосипатра, мне этим же иереем была предложена роль по другую сторону баррикад — роль проектировщика епархиальной биополитики. Однажды отец Сосипатр обратился ко мне с просьбой поучаствовать в молодежном патриотическом форуме как представительнице епархии — моя включенность в поле заставила священника считать, что я могу выступать в такой роли. В том же разговоре он предложил мне возглавить отдел по делам молодежи, который он хотел учредить на базе своего прихода. Оба этих предложения были обусловлены недостатком молодежи в приходе и в районе в целом (кого в таком случае я должна была возглавить?).

Мое положение трактовалось священником двояко: с одной стороны, я исследовательница, работающая над текстом диссертации, с другой — активистка, привлекающая в район городскую молодежь для восстановления храма. Он рассматривал меня как недостающий ресурс, как человека, способного заполнить пустоту епархиальных отчетов. На предложение возглавить молодежный отдел я ответила отказом, объяснив, что у меня уже есть работа антрополога, но согласилась подать заявку на участие в молодежном форуме. Для уточнения деталей участия через несколько дней мне позвонил другой священник из епархиального управления и очень учтиво — я впервые встретила с просящим тоном от священника, обычно в разговорах с иереями я чувствовала их проповедническую власть, — уточнял мои личные данные и возможность моего участия в форуме. В этом разговоре, вопреки обыкновению, власть над священнослужителем была в моих руках, от меня зависело, «выслужится» ли епархия, выполнит ли план по участию в публичных мероприятиях. Подав заявку на форум, я получила задание, которое необходимо было выполнить для отбора на православную секцию (сам форум включает



в основном светскую программу): было необходимо разработать программу встреч с молодежью на тему семейных ценностей.

«Представьте, что вам предстоит провести 2–3 встречи с группой из 25 молодых людей (18–20 лет, поровну юношей и девушек).

Встречи должны решать следующую задачу: в будущем количество разводов и аборт у участников этой группы должно оказаться существенно меньше, а рождаемость — существенно выше, чем в среднем в их регионе».

Прочитав это задание, я не могла сдержать иронии: как составление графика подобных мероприятий может способствовать повышению рождаемости среди молодежи, которой практически нет в районе? Мы с моими друзьями, присутствовавшими тогда в деревне, стали придумывать шуточные варианты такого проекта: *«Инициировать проекты по восстановлению многочисленных заброшенных церквей в области, привозить туда „студотряды“, в которых будет поровну парней и девушек; „полевые“ походные условия будут способствовать интенсивному сближению через взаимовыручку; в руководители проекта назначать многодетную православную пару, чьему благополучному примеру захотят последовать молодые люди».* Расписав подробный план нашего коллективного проекта, мы переглянулись и поняли, что описываем наш собственный опыт. Неужели мы, сами того не сознавая, стали участниками демографического плана отца Сосипатра, который в 2021 году впервые привез группу студентов-антропологов к заброшенной церкви в деревне Б.? К сожалению, моя заявка на форум не прошла отбор, так как я опоздала к дедлайну, занятая восстановлением церкви. А уже вскоре я сама стала объектом демографических ожиданий и других моих информантов.

[П.Я.] Слишком (не)полноценная невеста для деревни

Как-то раз, увидев, что я говорю по телефону со своей мамой, Юрий попросил дать ему трубку. Он стал нахваливать меня за хорошую работу, говорить, что моя мама вырастила хорошего человека, а потом внезапно Юрий заговорил о своем младшем сыне Владе: что он моего возраста, хороший парень и что они (Юрий) с моей мамой могли бы породниться. Этот разговор был скорее шуточный, но на мою маму это произвело большое впечатление — она сказала, что ей приятно от того, какое доверие оказывает мне Юрий, что даже хочет со мной породниться через своего сына. С точки зрения анализа пустот в структуре семьи информантов «ниша» невестки была уже почти заполнена: Влад несколько лет живет со своей девушкой в Москве, но жениться не собирается, что тревожит его родителей. Из наблюдений и разговоров с молодым человеком стало ясно, что он невзлюбил жизнь в Москве, и отчасти поэтому не может решиться на брак. Он на распутье между желанием жить не в столице и личными отношениями. Поэтому брачный союз, заключенный со мной, в представлениях Юрия, вернул бы сына в дом, куда он и без того стремится. К тому же я сама много говорила о том, как мне нравится в деревне и что я бы осталась здесь, будь у меня согласный на сельскую жизнь муж.

Однако, согласно комментариям самого Юрия и других деревенских жителей, «*мужик мне уже был не нужен*», так как я сама научилась выполнять мужскую работу. Как же в их голове совмещается представление обо мне как о самодостаточном человеке и одновременно завидной невесте? Нередко в разговорах, объясняя мне особенности деревенской жизни, Глафира утверждала, что муж нужен в первую очередь для выполнения хозяйственных работ, с которыми женщина сама бы не справилась (из-за недостатка физических сил и знаний), например кидать навоз, ремонтировать дом, строить баню⁹. По мнению Глафиры, это основная причина, по которой деревенские женщины не уходят от пьющих мужей, нередко прибегающих и к домашнему насилию.

В городской квартире, говорила Глафира, женщине намного легче справиться без мужчины, к тому же можно вызвать мастера по ремонту, который окажет необходимую услугу за деньги. В этом она видит и одну из причин, почему ее дочь Инна не замужем и не стремится найти мужа, так как «*слишком самодостаточная*» — она сама воспитывает сына, построила дом, купила квартиру в Вологде. Любопытно, что от потенциального мужа Инна ожидает той же самодостаточности: Глафира рассказывала мне, что для Инны важно, чтобы он владел недвижимостью, так как мужчина, который к 40–50 годам не приобрел своего жилья, по ее мнению, неполноценен. С подобным парадоксом моя коллега встречалась в обсуждении отношений между деревенскими мужчинами и женщинами в Тотемском районе.

[Л.Р.] С одной из информанток на момент задушевного разговора я была знакома около двух лет, она же приютила на месяц студентов на время экспедиции. Однажды мы разоткровенничались о личной жизни и любовных отношениях в разные периоды жизни женщины. Она с сожалением сказала, что отношения с мужчиной, который приезжает из другого райцентра или же она ездит к нему на свидания, неполноценны, поскольку ни он, ни она не решаются оставить свое домохозяйство. А ей, несмотря на опыт брака, вдовство, наличие взрослого сына, хотелось большего сближения даже после 50 лет. Размышляя, как личное счастье возможно для такой автономной женщины, как она, собеседница заключила: «*В общем, Лида, нам надо найти бомжика без жилья, отмыть его хорошенько, и он идеально впишется! Но где взять такого мужчину без дома?*».

На вышеописанных примерах мы видим, что в отношениях между полами появляется третий агент — дом. Паксон, проводившая полевое исследование на Русском Севере в середине 1990-х годов, обращает внимание на патрилокальность в легальном владении дома, но считает линию родственного наследования вторичной по отношению к общему чувству принадлежности жителей дома [Paxon, 2005: 40]. Кто владеет им, ведет хозяйство, наследует, — может претендовать на более маскулинную идентичность, даже если это женщина.

⁹ Этой необходимости, однако, теперь нет и в деревне — скотоводство здесь прекратилось три года назад, на ремонт дома и строительство бани теперь нанимают рабочих. Это обстоятельство трансформирует и гендерные представления: в нескольких интервью мужчины, в том числе Юрий, чтобы подчеркнуть чью-то мужскую «неполноценность» говорили: «Он и бани в своей жизни не построил».



[П.Я.] Другие жители деревни В., посчитав меня за «свою» — так они говорили мне на застольях после публичных мероприятий, — предлагали найти мне дом, который я смогла бы приобрести по низкой цене. Глафира же, размышляя об этой возможности, замечала, что в деревне мужика не найти: «За Мафию, что ли, замуж выходить?», — в шутку говорила она о безработном и алкоголизированном мужчине. В деревне действительно нет ни одного моего сверстника, а неженатые мужчины значительно старше меня — это вдовцы или разведенные. Поэтому, даже если бы я осталась в деревне, одна я бы не заполнила пустоту, но увеличила бы ее, так как вместе с собой я привезла бы в деревню свою «неполноценность» — лакуну там, где должен находиться муж в «традиционных» представлениях о семье. Единственным способом заполнить пустоту в условиях деревни, не производя новую, было бы привезти с собой мужа и этой семейной ячейкой заполнить пустоту вымирающей деревни.

В середине полевого года у меня случился роман с одним из моих приятелей, которые приезжали летом помогать восстанавливать церковь. Несмотря на то, что мы оба появились в деревне из мира города, узнавание и развитие отношений происходило в процессе проекта по восстановлению церкви на другом берегу — в заброшенной деревне, на руинах домов, некогда занимаемых «полноценными» многодетными семьями. В этот период Глафира и Юрий увидели меня в новом качестве — влюбленной девушки — и «полевая» семья стала чаще задумываться о моих репродуктивных перспективах с новым женихом. Оба супруга часто говорили, что ждут, что после того, как я вернусь в город и рожу детей, буду приезжать к ним в деревню, чтобы они «водились»¹⁰ с моими детьми, как бабушка и дедушка. Здесь мы видим протяженность поля, которое предполагает уже установленное с информантами родство: даже покинув деревню, я не вернулась в статус чужака, но скорее повторила судьбу покинувших отчий дом детей, от которых ожидается возвращение, хотя бы редкое, для того чтобы представить родителям свое потомство. Так мои еще нерожденные и даже незапланированные дети стали внуками для Глафиры и Юрия и «своими» для деревни благодаря тому символическому родству, которое установилось в результате моего полевого исследования длиною в год.

[Л.Р.] (Ре)продуктивная неполнота VS женская автономия

Темпоральность поля играет роль и в моем полевом опыте на Русском Севере. Взаимоотношения с отцом Сосипатром развивались постепенно: в ходе знакомства беседа о материнстве сменилась демонстрацией эмбрионов для антиабортной пропаганды. Вскоре, в день воинов-интернационалистов и Сретения Господня, мы встретились в компании членов православного прихода, музейных работников и ветеранов Афганистана. Единственный мужчина-прихожанин принес гитару: я подпевала ему, чтобы отделаться от ощущения абсурдности происходящего. Память о совместном пении с мужчиной проявилась спустя полтора года. Летом 2021 года я приехала с группой

¹⁰ «Нянчились» с ребенком.

студентов, часть из которых занимались этнографией прихода. Так я невольно стала посредником между интервьюерами и священником. Однажды, ожидая переправы, мы оказались вдвоем на берегу реки, где нас никто не мог услышать. Воспользовавшись моментом, священник поднял неожиданную тему:

«Я Вас уже не первый год знаю; вижу, вы снова и снова приезжаете сюда, в село, значит, Вас что-то сюда тянет. А я вот подумал... вы женщина образованная, к тому же поете, знаете службы, звонарь опять же. А помните Илья, хромой такой молодой человек, он еще с гитарой был, когда зимой вы приезжали? Он хороший человек, в разводе, но тоскует, хочет уехать, поскольку здесь совсем один. А мне-то диакон нужен. А если Илья уедет, с кем мне служить? Вот я и подумал, что вы могли бы рассмотреть этот вариант... и как и жить бы остались, семья была! А то все одна, одна, я же вижу...»

Здесь мы видим многоступенчатую стратегию. Хотел ли отец Сосипатр прекратить мое одиночество и наполнить мою жизнь смыслом? Или преследовал другие цели? Заполняя пустоту семейную (обретение жены / мужа), иерей думал о заполнении пустоты в алтаре. Через брак помощника приход стал бы более полным: диакон служит, а жены священника и диакона составляют хор. В момент разговора мне было не ясно, кого в большей степени священник считал неполноценным(ой), «хромым(ой)» (в этот день я подвернула ногу возле церковного туалета и прихрамывала, как и мой несостоявшийся жених) и требующим «заботы». Признавая мою экспертность в литургике и пении, видя меня за рулем УАЗа, который водил он сам, отец Сосипатр отдавал дань моему образованию и полноценности в интеллектуальном плане, но подчеркивал, что без мужа я остаюсь духовно и социально неполноценной.

Многолетний опыт бесед с деревенскими женщинами о распределении мужских и женский ролей и миссий дает мне возможность дополнить вышеописанные представления совсем иной женской позицией. «Знающая» бабушка, проявившая свои целительские способности после трагической гибели единственного сына, живет одна и с большинством хозяйственных и строительных забот справляется сама. Меня поразила самостоятельность 60-летней собеседницы: я поделилась своим опытом содержания деревянного дома в одиночку и спросила, как справляться без «мужчины в доме». Неожиданно она ответила:

«Сейчас такое время, что Конец Света близок, и тут слабые просто не выживут. Идет отбор. И потому нужно быть сильной, чтобы пройти эти времена. Не нужен тебе мужик, чтобы вести хозяйство! Посмотри, я отлично справляюсь! Надо уметь все и мужское, и женское совмещать в себе.»

Обычно мы сталкиваемся с вернакулярным образом автономной женщины (и баба, и мужик) в контексте тылового женского труда во время ВОВ и дефицита мужского населения после войны. В словах «знающей» бабушки



ценность самодостаточности определяется апокалиптическими ожиданиями. В полевых материалах 2020-х годов идея хозяйственной автономии сочетается с мыслью об автономии в других сферах, почти андрогинностью. Это вступает в конфликт с представлением РПЦ о неполноценности мужчины и женщины вне брака и необходимостью дополнять один пол другим. Интересно, как апокалиптичность и церковная биополитика сочетаются с ландшафтом умирающих деревень. Характеристики пространства, понимание светских и религиозных темпоральностей оказываются основой, на которой каждый выстраивает своего понимание того, какие формы родства (биологического, символического) являются значимыми.

[Л.Р., П.Я.] Биополитический ресурс в условиях пустоты

В зависимости от того, какую грань наших идентичностей информанты хотели использовать в своих дискурсивных практиках, они подмечали либо нашу женственность, либо маргинальность гендерной идентичности; либо нашу молодость, либо зрелость и способность к воспитанию и материнству. Причем, когда проповедник на правах свахи ведет переговоры о браке, он превозносит самодостаточность как плюс для того, чтобы быть кандидаткой в жены; во время проповеди тот же священник транслирует идею смирения женщины перед мужчиной. Таким образом, в глазах РПЦ обе исследовательницы «мигрируют» между категорией невесты (потенциальной жены) и представительницы молодежи.

Молодежь как демографическая категория не является частью семьи, но отлично встраивается в разные направления биополитики: как реципиент проповедей, просветительской и пропагандистской деятельности и буквально — как агент программы воспроизводства населения. В деревне молодежь, находящаяся в фокусе биополитики государства и РПЦ, практически отсутствует. Поэтому появление в районе молодых людей трактуется в первую очередь как потенциальный ресурс, который и местные жители, и представители церковных и светских властей стараются задействовать: священники и чиновники для закрытия дыр в планах публичных мероприятий, деревенские жители — в своих планах и фантазиях о возрождении деревни. Так, отец Сосипатр сразу «взял в оборот» группу молодых антропологов, пригласив нас восстанавливать храм в заброшенной деревне. Изначально это было спонтанным мероприятием, но, поскольку несколько лет подряд мы возвращались в деревню, иерей стал мыслить это восстановление с привлечением молодежи проектно: помимо предложений возглавить молодежный отдел, он предлагал курировать группы студентов, которых задумал привезти в «лагерь» у церкви следующим летом.

Такое сезонное заполнение пустоты в заброшенной деревне молодежью, едва ли предполагающее укоренение на местности, — единственная возможность для отца Сосипатра и представителей муниципальной администрации исполнять планы региональной биополитики. Но в этой пустоте, какой бы силы агитационным аппаратом ни владела РПЦ, к реальным изменениям в областной демографии такие усилия привести не могут.

Заключение

Изучая умирание и опустение русских деревень, разрушение и оскудение родственных связей, а также направляя исследовательское внимание на различные (биополитические) проекты и идеи возрождения (семей, храмов, уклада жизни, деревенского дома), мы должны быть готовы к тому, что поле и информанты потребуют от нас безупречности в поступках, взглядах, жизненных стратегиях. Стремление к деторождению, крепкий брак в мечтах информантов [Яровая, 2024] — это те сюжеты, где разговоры и проповеди о биологическом родстве оказываются намного более властными и суровыми, нежели идеи и практики укрепления символического родства.

Иногда биополитические притязания деревенского сообщества, наших информантов могут заставить нас просто опешить: мы ожидали «собрать материал» и дать голос деревенским жителям в своих научных публикациях, а столкнулись с тем, что местные жители включили нас, как способных рожать молодых женщин, в свои демографические планы. Сталкиваясь с такими обескураживающими предложениями (родить и поучаствовать в грантовом проекте; нести антиабортную пропаганду в народ; выйти замуж за сына информанта), мы не можем прибегнуть к привычной академической риторике, которая ранее успешно позволяла нам сохранять эмоциональную дистанцию и здравомыслие в поле.

Здесь нам приходится признать, что власть письма (*writing power*) антрополога, обеспеченная производством научных текстов [Rosaldo, 1986], действует иначе: мы не только и не столько инквизиторы в наших полях, но сами объекты власти наших информантов. Мы все больше ощущаем на себе действие власти проповедника (*preaching power*) [Harding, 2009]. Рассматриваемые в данной статье случаи подчеркивают чувствительность данной проблемы для всех исследовательниц.

Итак, мы заявляем, что классические предметы исследования антропологии, такие как дом и домашнее пространство, а также структуры родства в изучаемом сообществе имеют огромный потенциал для переосмысления в контексте автоэтнографии. При таком подходе они придают старым темам методологическую глубину. Говоря об опустевшем доме, который выражает также демографическую ситуацию в деревнях Русского Севера, мы хотим обозначить и подчеркнуть те напряженные отношения, которые возникают между антропологом и этой «пустотой». С одной стороны, мы — молодые незамужние исследовательницы, — заполняя пустоту дома и деревни, испытываем давление сообщества, которое изучаем, поскольку наше семейное положение становится поводом для интерпретации нас информантами как «неполноценных». С другой стороны, ситуация «неполноты» и вынужденного сиротства, в которой мы оказываемся в поле, позволяет нам легче войти в сообщество и семью — мы свободны и открыты потенциальным связям, которые информанты в наших случаях не преминули нам предложить.

Пустота (с обеих сторон: в деревне — недостаток в молодых людях, для незамужних антропологинь — пустота на месте мужа) становится благодатной



почвой для образования новых социальных отношений. В результате наложения двух различных процессов «опустения» и нехватки мы наблюдаем, как ни парадоксально это звучит, «прорастание» [Tsing, 2015; Tsing, 2017] в пустотах и нишах новых социальных связей, новых форм родства, новых названий улиц в безлюдной деревне, новых крестов на старых крышах храмов. На место родных детей в освобожденные комнаты вселяются исследовательницы, с которыми заключается¹¹ символическое родство, формируемое за счет знакомых и привычных практик заботы, ранее направленных на родных детей. Дистанция же в условиях временно заполняемой пустоты невозможна — мы оказываемся слишком «желанным» ресурсом для поля. Одновременно и поле желанно для нас как предмет и субъект познания.

Кроме личных отношений в устанавливаемом символическом родстве, в этой картине присутствует еще один важный агент — областная биополитика и ее исполнители. Антрополог с записной книжкой и дневником сегодня — это не эманация государства в тайге [Ssorin-Chaikov, 2017] а, судя по описанным случаям, объект одновременно и государственной демографической политики, и биополитических ожиданий наших информантов. Мы изучаем не нейтральный незаинтересованный в нас ландшафт, как сторонние наблюдатели: пока мы смотрим в поле, поле вглядывается в нас, желая утащить за собой в светлое будущее возрождающихся деревень.

Литература / References

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965.

Bakhtin M. M. (1965) *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Rennanssa* [Rabelais and His World: Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russ.)

Бляхер Л. Е., Григоричев К. В., Ковалевский А. В. Жизнь в пустоте: антропологические очерки социального пространства за пределами властного регулирования. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2024.

Bliakher L. E., Grigorichev K. V., Kovalevskii A. V. (2024) *Zhizn v pustote: antropologicheskie ocherki socialnogo prostranstva za predelami vlastnogo regulirovaniya* [Life in the Void: Anthropological Essays on Social Space Beyond Power Regulation]. Moscow: Fond podderzhki sotsialnykh issledovaniy "Khamovniki"; Common Place. (In Russ.)

Дзеновска Д. Пустота: капитализм без людей в латвийских деревнях // Деревня как ценность. Идеологии и практики новой сельскости: сборник / Под ред. Е. Мельниковой, П. Куприянова, М. Лурье. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2025. С. 176–218.

Dzenovska D. (2025) *Pustota: kapitalizm bez lyudej v latvijskih derevnyah* [Emptiness: Capitalism Without People in Latvian Villages]. In: E. Melnikova, P. Kupriyanov, M. Lurie (eds.) *Derevnya kak cennost. Ideologii i praktiki novej selskosti: sbornik* [The Village as a Value: Ideologies and Practices of the New Rurality]. Moscow: Fond podderzhki sotsialnykh issledovaniy "Khamovniki"; Common Place. P. 176–218. (In Russ.)

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2000.

¹¹ N.b.: мы употребляем здесь выражение «заключить родство» подобно тому как заключают брак в отличие от биологического родства.

Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebya drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life]. Transl. from Eng. by A. D. Kovalev. Moscow: KANON-press-Ts; Kuchkovo pole. (In Russ.)

Мельникова Е., Куприянов П., Лурье М. Введение // Деревня как ценность. Идеологии и практики новой сельскости: сборник. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники; Common Place, 2025. С. 8–22.

Melnikova E., Kupriyanov P., Lurie, M. (2025) *Vvedenie* [Introduction]. In: E. Melnikova, P. Kupriyanov, M. Lurie (eds.) *Derevnya kak cennost. Ideologii i praktiki novoj selskosti: sbornik* [The Village as a Value: Ideologies and Practices of the New Rurality]. Moscow: Fond podderzhki sotsialnykh issledovaniy "Khamovniki"; Common Place. P. 8–22. (In Russ.)

Панченко А. А. Инквизиторы как антропологи, антропологи как инквизиторы // Живая старина. 2001. № 1. С. 7–9. EDN: PXXVLV

Panchenko A. A. (2001) Inquisitors as Anthropologists, Anthropologists as Inquisitors. *Zhivaya starina* [Zhivaya starina]. No. 1. P. 7–9. (In Russ.)

Пинчук О. В. Сбои и поломки: этнографическое исследование труда фабричных рабочих. М.: Common Place, 2021.

Pinchuk O. V. (2021) *Sboi i polomki: etnograficheskoe issledovanie truda fabrichnyh rabochih* [Failures and Breakdowns: An Ethnographic Study of Factory Workers' Labor]. Moscow: Common Place. (In Russ.)

Рахманова Л. Я. Интимные пространства для тела и души в деревне: неловкость, смущение и стыд как часть включенного наблюдения // Кунсткамера. 2018. № 2. С. 12–19. EDN: QLQMHT DOI: <https://doi.org/10.31250/2618-8619-2018-2-12-19>

Rakhmanova L. Ya. (2018) Intimate Spaces for Body and Soul in the Village: Awkwardness, Embarrassment, and Shame as Part of Participant Observation. *Kunstkamera* [Kunstkamera]. No. 2. P. 12–19. DOI: <https://doi.org/10.31250/2618-8619-2018-2-12-19> (In Russ.)

Рахманова Л. Я. Дивид на заимке, заимка как дивид: этнография сибирской избушки сквозь призму женского отсутствия // Этнографическое обозрение. 2024. № 6. С. 41–65. EDN: VTYQAU DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869541524060035>

Rakhmanova L. Ya. (2024) Divid at a Hunting Cabin, Cabin as Divid: Ethnography of a Siberian Hut through the Prism of Female Absence. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review]. No. 6. P. 41–65. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869541524060035> (In Russ.)

Ярочая П. Р. Труд и работа в этике современного православия: восстановление крестьянского дома, монастыря и Святой Руси // Этнографическое обозрение. 2024. № 6. С. 81–96. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869541524060057>

Yarovaya P. R. (2024) Labor and Work in the Ethics of Contemporary Orthodoxy: Restoration of the Peasant House, Monastery, and Holy Rus. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review]. No. 6. P. 81–96. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869541524060057> (In Russ.)

Abu-Lughod L. (2008) Writing against Culture. *The Cultural Geography Reader*. New York: Routledge. P. 62–71.

Bourdieu P. (1990) Appendix: The Kabyle House or the World Reversed. *The Logic of Practice*. Redwood City: Stanford University Press. P. 271–284.

Briggs J. L. (1971) *Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family*. Cambridge: Harvard University Press.

Carsten J. (2018) House-Lives as Ethnography/Biography. *Social Anthropology*. Vol. 26. No. 1. P. 103–116.

Cerwonka A., Malkki L. H. (2007) *Improvising Theory: Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork*. Chicago: University of Chicago Press.

Clifford J. (1986) Introduction: Partial Truths. *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press. P. 1–26.

Clifford J., Marcus G. E. (eds.) (2023) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press.

Delaney C. (1986) Meaning of Paternity and the Virgin Birth Debate. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. Vol. 21. No. 3. P. 494–513.



Dzenovska D. (2019) The Timespace of Emptiness. In: R. Bryant, D.M. Knight (eds.) *Orientations to the Future*. P. 10–26.

Gell A. (1998) *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Oxford: Clarendon Press.

Günel G., Varma S., Watanabe C.A (2020) Manifesto for Patchwork Ethnography. *Fieldsights*. P. 1–14.

Haraway D.J. (2020) *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University Press.

Harding S. (2009) Convicted by the Holy Spirit: The Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion. *American Ethnologist*. Vol. 14. P. 167–181. DOI: <https://doi.org/10.1525/AE.1987.14.1.02A00100>

Hobsbawm E., Ranger T. (eds.) (2012) *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jauregui B. (2017) Intimacy: Personal Policing, Ethnographic Kinship, and Critical Empathy (India). In: D. Fassin (ed.) *Writing the World of Policing: The Difference Ethnography Makes*. Chicago: University of Chicago Press. P. 62–90. DOI: <https://doi.org/10.7208/9780226497785-004>

Langwick S.A (2018) Politics of Habitability: Plants, Healing, and Sovereignty in a Toxic World. *Cultural Anthropology*. Vol. 33. No. 3. P. 415–443. DOI: <https://doi.org/10.14506/ca33.3.06>

Lévi-Strauss C. (1995) *Tristes Tropiques*. Paris: Plon.

Paxson M. (2005) *Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village*. Bloomington: Indiana University Press; Washington: Woodrow Wilson Center Press.

Rosaldo R. (1996) From the Door of His Tent: The Fieldworker and the Inquisitor. In: J. Clifford, G.E. Marcus (eds.) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. 2nd ed. Berkeley: University of California Press. P. 77–97.

Schneider D. (1972) What Kinship Is All About? In: P. Reining (ed.) *Kinship Studies in Morgan Centennial Year*. Washington: The Anthropological Society of Washington. P. 32–63. DOI: <https://doi.org/10.1037/e596452011-004>

Ssorin-Chaikov N. (2017) *Two Lenins: A Brief Anthropology of Time*. Chicago: Hau Books.

Strathern M. (1988) *The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*. Berkeley: University of California Press.

Tsing A. (2015) *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton: Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.1515/9781400873548>

Tsing A. (2017) The Buck, the Bull, and the Dream of the Stag: Some Unexpected Weeds of the Anthropocene. *Suomen Antropologi*. Vol. 42. No. 1. P. 3–21.

Сведения об авторах:

Яровая Полина Романовна — аспирант, Школа исторических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** pryarovayaa@gmail.com. **ORCID ID:** 0009-0002-0828-7854.

Рахманова Лидия Яковлевна — кандидат социологических наук, доцент Департамента истории, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** lrakhmanova@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** 878647 **ORCID ID:** 0000-0002-7475-3609.

Статья поступила в редакцию: 15.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.1

On the Ruins of a Rural Family: How the Voids of the Field Lure the Researcher into the Networks of Kinship

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.1

Polina R. Yarovaya HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: pryarovayaa@gmail.com

Lidia Ya. Rakhmanova HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: lrakhmanova@hse.ru

In this article, we show that the sensitivity of the field in post-Soviet ethnography of rurality emerges not from the sensitivity of the research subject itself, but is instead provoked by the specific features of rural landscapes — both material and emotional. Often, the only way to conduct participant observation in rural areas is to live in the homes of informants. In doing so, the researcher occupies spaces left empty by the children of rural residents. It is not possible to simply rent a corner or a room in a house: one inevitably becomes embedded in networks of kinship and, by responding to the expectations and desires of informants, reproduces lost practices of familial intimacy. However, since there are many such empty spaces in the rural environment and only one researcher, she is often required to transform herself depending on the needs of the field — quite literally shifting gender roles. This fluidity comes into conflict with the stable and consistent identity expected of the researcher by informants and the Russian Orthodox Church. According to state and church biopolitics, grounded in the notion of the “traditional family,” a young woman is considered incomplete unless she has a husband and children. The tension that arises in this situation — a complex of mutual expectations and desires — unfolds in a highly specific context: the post-Soviet ruins of villages and churches, families and marital unions. Relationships marked by absence and voids give rise to forms of intimacy that make analytical distance between the anthropologist and the field impossible.

Keywords: social distance; forms of kinship; rural ethnography; participant observation; symbolic kinship; biopolitics

Authors bio:

Polina R. Yarovaya — Graduate Student, School of Historical Sciences, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** pryarovayaa@gmail.com. **ORCID ID:** [0009-0002-0828-7854](https://orcid.org/0009-0002-0828-7854).

Lidia Ya. Rakhmanova — Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of History, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** lrakhmanova@hse.ru. **RSCI Author ID:** [878647](https://rsci.hse.ru/878647) **ORCID ID:** [0000-0002-7475-3609](https://orcid.org/0000-0002-7475-3609).

Received: 15.02.2026

Accepted: 18.03.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.2
EDN: HTQYEC

Конструирование опыта суррогатного материнства: эмоциональная работа и профессионализация в биографическом нарративе¹

Ссылка для цитирования:

Моисеева А. А. Конструирование опыта суррогатного материнства: эмоциональная работа и профессионализация в биографическом нарративе // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 39–56. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.2> EDN: HTQYEC

For citation:

Moiseeva A. A. (2026) The Making of a Surrogate Motherhood: Emotional Labor and Professionalization in Biographical Narratives. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 39–56. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.2>



Моисеева Анастасия Алексеевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
E-mail: mn_0911@mail.ru

На базе биографического интервью с суррогатной матерью из России анализируется, как женщина конструирует свой опыт в рамках коммерческого репродуктивного труда. Ключевые стратегии, отраженные в нарративе, — профессионализация своей деятельности и эмоциональное отстранение от вынашиваемого ребенка. При этом центральными фигурами, на которые переносятся все эмоции и смыслы, становятся биологические родители. Несмотря на доминирующий дискурс осознанного выбора и финансовой мотивации, опыт суррогатного материнства требует интенсивной эмоциональной работы и сложного согласования противоречивых социальных ролей. Проведенное биографическое интервью также рассматривается как пример исследовательской работы с сенситивным полем.

Ключевые слова: суррогатное материнство; вспомогательные репродуктивные технологии; репродуктивный труд; биографический метод

¹ Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

И сказала Сара Аврааму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не родить; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее.

Бытие 16:2²

О суррогатном материнстве

Феномен суррогатного материнства существует в человеческой истории длительное время, однако развитие вспомогательных репродуктивных технологий (далее ВРТ) с 1980-х годов сильно усложнило его формы и увеличило частоту прибегания к нему [Kneebone et al., 2022], в том числе и в России [Ростовская, Кучмаева, 2021]. Различают традиционную форму суррогатного материнства, где вынашивающая мать является и генетической матерью, и гестационную, где донор яйцеклетки и суррогатная мать — это разные люди [Денисова, 2018]. Традиционная форма считается незаконной в России, как и во многих странах мира. Также выделяют безвозмездное/альтруистическое и коммерческое материнство. В большинстве стран реализуется безвозмездная форма, в то время как коммерческая запрещена. Россия является одним из исключений, где могут реализовываться обе формы. Отметим, что безвозмездная форма не означает, что женщины не имеют никакой компенсации, обычно они также получают месячное содержание и итоговый «подарок» [Jacobson, 2021]. Разница скорее заключается в моральном фреймировании, поскольку в безвозмездной форме суррогатное материнство воспринимается как альтруистическое самопожертвование [Jacobson, 2021; Kneebone et al., 2022]. В России, где все же чаще реализуется коммерческое суррогатное материнство, труд суррогатных матерей рассматривается в рамках рабочих отношений, и женщины выступают как «предприниматели», предоставляющие возможности своего тела и получающие вознаграждение [Siegl, 2018].

Суррогатное материнство как социальная практика подразумевает наличие множества акторов: суррогатные матери; доноры гамет; потенциальные родители, обращающиеся к услугам доноров и суррогатных матерей; медицинские и юридические инстанции, модерирующие эти процессы [Богомяжкова, 2015]. Родители могут обращаться за помощью к специальным агентствам, кураторам или же работать с суррогатной мамой напрямую, и этот опыт будет очень сильно различаться [Денисова, 2018]. Степень близости общения родителей и суррогатной мамы также может варьироваться [Gunnarsson et al, 2020].

Отметим, что при использовании ВРТ происходит проблематизация и переопределение биологических и социальных компонентов родства [Ларкина, 2020]. В результате материнство и родительство перестают быть четко определенными концептами, и формируется концепция дисперсного родства [Snowden et al., 1983; Strathern, 1995; Ткач, 2013].

² Бытие 16:2 // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Изд. 7-е. Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2022.



Способы легитимации коммерческого суррогатного материнства в России базируются на дискурсивной практике отрицания определения сурматеринства как формы «продажи детей» и вместо этого — на акцентировании идеи генетического родства и законности подобного формата ВРТ [Душина и др., 2021]. В исследовании рынка донорских гамет [Ларкина, 2020] родство подчеркивалось через социальные аспекты (возникающую эмоциональную привязанность во время беременности и практики заботы), а также имитацию генетического родства (подбор похожих на мать доноров и наличие генетического материала отца).

Опыт суррогатного материнства зависит от множества факторов: от страны, от условий программы, от социально-экономического статуса участников этого процесса. Академическая литература фиксирует контрастные нарративы в опыте суррогатных матерей. С одной стороны, существуют исследования [напр.: Smietana, 2017; Kneebone et al., 2022; Jadva et al., 2015], героини которых описывают высокую степень удовлетворенности и выражают готовность к повторному участию. С другой стороны, есть работы [напр.: Tashi et al., 2014; Deomampo, 2013], которые акцентируют внимание на том, что суррогатная мать может быть вынуждена перебарывать возникшую эмоциональную связь между ней и ребенком, послеродовую депрессию, непринятие окружением (в том числе партнером и своим ребенком), экономические проблемы, а также постоянный страх за здоровье ребенка. В этнографических работах, изучавших опыт суррогатных мам в России, также отмечаются эмоциональные трудности и различные формы дискриминации, с которыми столкнулись женщины [Siegl, 2018; Weis, 2021].

В контексте опыта суррогатного материнства часто упоминается концепция «эмоциональной работы» [Hochschild, 2011]. Во-первых, отмечается, что суррогатная мама проводит «обратную» эмоциональную работу, блокируя свои эмоции, чтобы избежать привязанности к ребенку [Денисова, 2018; Pande, 2010]. Во-вторых, она проводит «прямую» эмоциональную работу, встраиваясь в необходимый дискурс о женском теле, находя тем самым баланс между заботой и дистанцией по отношению к ребенку [Siegl, 2018]. В этом же исследовании указывается особый способ взаимодействия женщин со своим телом, в котором они «настраивают» его под необходимые форматы: умиряют свои эмоции, борются с гормонами и прочее.

Внутри этой эмоциональной работы стоит выделить ту особую роль, которую для суррогатных матерей играет их отношение к родителям ребенка: очень часто женщины сами хотят близкого контакта с генетическими родителями [Verend, 2014]. Разрыв этого контакта приносит им боль, иногда даже большую, чем разрыв контакта с ребенком [Verend, 2012]. Беренд пишет об особом «языке любви» суррогатных матерей: уважение к своему опыту, привязанность к генетическим родителям, альтруизм становятся определяющими моментами, которые они используют, чтобы отделить свой труд от рыночного. Эти характеристики особенно сильно проявляются в безвозмездном суррогатном материнстве, но могут найти свое отражение и в коммерческом.

Суррогатное материнство — не единственная сфера, где эмоции становятся объектом управления, однако контекст репродуктивного труда привносит в эту работу беспрецедентную этическую сложность и телесную вовлеченность [Hochschild, 2011]. Отметим, что и донорство ооцитов как смежная область репродуктивного труда также сопряжено с интенсивной эмоциональной работой по конструированию альтруистической мотивации и управлению отношениями с генетическим материалом [Almeling, 2011]. Однако в данной работе мы концентрируемся на опыте гестационного суррогатного материнства, который включает не только эмоциональные, но и уникальные телесные, социальные и правовые аспекты вынашивания и передачи ребенка. Биографическое интервью, которое мы будем рассматривать далее, конечно, не позволяет нам обобщить опыт суррогатного материнства, но позволяет рассмотреть конкретный нарратив, в котором проявляются элементы конструирования идентичности в этих условиях.

Об информантке

Нашей информанткой стала Наталья (имя изменено), рекрутинг которой произошел через ее блог в одной из социальных сетей. Выбор пал на нее, поскольку она обладает двумя ключевыми особенностями: Наталья дважды была суррогатной матерью, а сейчас работает куратором в этой сфере. Кроме того, она ведет довольно крупные блоги о суррогатном материнстве на разных медиаплощадках и имеет тысячи подписчиков³.

Кратко обозначим реперные точки на жизненном пути Натальи. Она единственный ребенок в семье, прожила всю жизнь в Москве. Ни с одним из родителей Наталья не общается, но поддерживает контакт с бабушкой по материнской линии. С мужем она начала встречаться еще до совершеннолетия. Когда ей исполнилось 18, он сделал предложение, но поженились они только когда она забеременела (на тот момент Наталье было 20 лет). После полутора лет декрета она решила «провести оставшееся время с пользой» и пошла в свою первую программу суррогатного материнства, в это же время завела блог. Здесь информантка не только осуществляет рекрутинг суррогатных мам (материальная цель), но и уделяет внимание просвещению аудитории относительно темы ВРТ. Позднее она получила еще одно предложение стать сурмамой и опять ушла в декрет. В ходе своей карьеры суррогатной мамы она обзавелась связями, что позволило ей стать куратором, это и является в настоящее время основной ее деятельностью. Сейчас ей 26 лет, ее ребенку шесть лет, вместе с мужем они живут в Москве в собственной квартире, ипотеку на которую закрыли преимущественно за счет денег за суррогатное материнство.

Все эти условия создают интересную и многосоставную основу для трансляции собственной идентичности, которая, нужно признать, была

³ Подобная практика является довольно распространенной среди суррогатных матерей. Автор статьи нашла порядка 20 подобных личных блогов, находящихся в публичном доступе. Среди них блог Натальи один из самых популярных.



сконструирована не только в процессе самого интервью, но и многократно до: в «оправдательных» разговорах с близкими людьми, во время рабочих встреч с другими сурмамами, которых нужно курировать, и в ходе обсуждений ее опыта в интернете. Наш ключевой исследовательский вопрос был следующим: как женщина, выступающая в роли суррогатной матери в России, конструирует свою идентичность через нарратив, балансируя между дискурсом профессиональной самоидентификации и эмоциональной работы?

Биографическое нарративное интервью

Методология

В качестве базового метода мы использовали биографическое нарративное интервью по схеме Шютце [Рождественская, 2020]. Оно позволяет информанту самостоятельно осуществлять интерпретативную работу по поводу сложных периодов прошлого, что не всегда получается в полуструктурированных интервью [Svašek, Domecka, 2020]. Также именно этим способом можно посмотреть на процесс конструирования идентичности у человека [Szczepanik, Siebert, 2016], что особенно важно в нашем конкретном кейсе, где женщина репрезентирует несколько ролей сразу.

Интервью проводилось онлайн, его продолжительность составила 80 минут. Сначала мы представили информантке цели исследования и попросили ее рассказать историю своей жизни — это была стадия свободного нарратива. Затем следовала стадия расспрашивания с уточняющими вопросами [Szczepanik, Siebert, 2016].

Анализ проводился в несколько этапов [Fernandes et al., 2017] и включал текстуальный анализ, анализ нарративных отрезков, аналитическую абстракцию и сравнение жизненных периодов, а также сопоставление нарративов и обоснований информантки.

Биографическое интервью и чувствительность

Исследование опыта суррогатного материнства, связанное с работой над эмоционально насыщенными и социально уязвимыми аспектами жизни, потребовало от нас преодоления чувствительности на всех этапах работы. В литературе широко обсуждается, что качественные методы оптимальны для работы с чувствительными темами [Elmir, 2011]. Неструктурированные интервью, представляя собой совместный опыт исследователя и информанта, позволяют создать обстановку доверительной беседы [Ramos, 1989]. Этим обусловлен выбор метода биографического нарративного интервью, не предполагающего жесткого гайда: мы ограничились списком широких тем, не сковывавших развитие нарратива.

Мы использовали ряд приемов для снижения чувствительности для информантки. Среди них — особое внимание к процедуре информированного согласия, гарантии полной анонимности, а также использование вербальных и невербальных стратегий для установления доверительного контакта во время беседы, в том числе в онлайн-формате [Westland et al., 2025].

Сенситивные темы можно определить как «темы, которые потенциально могут причинить физический или психологический ущерб участникам или исследователю» [Cowles, 1988]. Однако воздействие на последнего освещается значительно реже. Неструктурированные интервью также часто истощают и исследователя [Corbin, Morse, 2003]. В нашем случае это проявилось в двух аспектах: во время интервью необходимо было поддерживать нарратив и отслеживать эмоциональное состояние информантки, а также управлять собственными реакциями, что требовало высокой концентрации и эмоциональной гибкости. Отмечается, что важно иметь достаточный опыт, который позволит установить доверие и при этом контролировать поток поступающей информации [Corbin, Morse, 2003]. Трудности возникли и на этапе анализа. Поскольку анализ основывался на единичном интервью, эмоциональное отрешение было затруднено из-за невозможности сравнительного обобщения опыта. Требовался постоянный поиск баланса между эмоциональным погружением в сенситивный опыт информантки и сохранением аналитической дистанции.

Несмотря на эти вызовы, важно отметить, что подобные интервью в контексте сенситивных исследований обладают значительным позитивным потенциалом. Они могут иметь терапевтический эффект и дают голос тем, кто его лишен в публичном пространстве [Elmir, 2011]. Наталья, уже ведущей публичный блог, интервью позволило более рефлексивно осмыслить свой опыт. Таким образом, работа с сенситивностью выступает не только как методологический вызов, но и как основа для этического и продуктивного исследовательского взаимодействия.

Интерпретация

Наименования

Нам кажется верным начать интерпретацию с наименований, которые информантка дает своему опыту. Суррогатную беременность (и подготовку к ней) она последовательно называет «программой». Данный термин, хотя и является устоявшимся в контексте суррогатного материнства, в ее нарративе приобретает особый смысл: уже на первоначальном этапе этот путь предстает как некоторый осуществляемый проект, а не как эмоционально нагруженный процесс.

Фактические родители ребенка именуется «биологическими родителями» / «биомамой» и «биопапой». Очень часто они сокращаются до просто «био». Последнее пусть изначально и подразумевает обоих родителей, очень часто означает только мать, что подчеркивает гендерный дисбаланс этого опыта. В целом роли родителей в программе неодинаковы. Отношения с биомамой описаны как личные, поддерживающие и эмоциональные, она берет на себя роль основного коммуникатора и координатора. О биопапе в интервью практически не упоминается, его роль остается в тени. В ответе на прямой вопрос о нем Наталья подчеркивает, что «девочке с девочкой» комфортнее



обсуждать детали. Его участие лимитируется радостью по телефону после родов и соприсутствием на встречах с биологической матерью.

Себя же она называет «сурмамой». Представляет интерес, как по-разному она трактует это понятие несколько раз в течение разговора. Самой первой появляется метафора «няни», подчеркивающая рациональный и договорной характер отношений. Эта метафора является устоявшейся для данной среды, что обсуждается и в других научных работах [Siegl, 2018; Gunnarsson et al., 2020].

«Я просто вот няня».

Главной чертой суррогатного материнства для Натальи становится ответственность перед родителями, о чем она говорит несколько раз:

«То есть во время беременности ты ответственный, ты как няня, да; тебе доверили ребенка, ты вот все эти девять месяцев его охраняешь, защищаешь, оберегаешь».

Затем в интервью появляется интересное сравнение с ролью «лучшей подруги» биомамы. Это еще раз подчеркивает гендерную специфику этих отношений, а также вступает в противоречие с рациональным и договорным дискурсом, доминирующим во всем интервью.

«Я смотрю на биомаму, как будто бы это вот моя лучшая подруга. Родила ребенка — и я вот искренне радуюсь тому, что вот это вот ее ребенок».

Но доминирующей интерпретацией этого опыта становится суррогатное материнство как работа, рынок, где женщина реализует себя.

«Например, ставят очень высокий ценник, давайте скажем, мы же про работу говорим, про рынок, да?»

Коммуникативные стратегии информантки

В ходе интервью Наталья постоянно обращается к коммуникативным стратегиям, которые можно объединить в 2 группы: стратегии отстранения и стратегии оправдания. В рамках стратегий первой группы Наталья очень часто прибегает к пересказам диалогов. Чаще всего по смыслу эти диалоги представляют собой не реальные разговоры, а скорее обобщенные случаи из ее опыта. Встречаются, однако, и фрагменты, где воспроизводятся конкретные ситуации. Например, объяснение информантки с бабушкой:

«Но я была удивлена, что она поняла меня. И единственное, что она мне сказала, что у меня matka старая. Я говорю: „Бабушка, мне всего 21 год“. Она говорит: „Ну и что, ты же уже рожала, тебе уже 21“. А про вторую

программу, ну, я ей сразу сказала, она говорит: „Ну сколько можно!“ Я говорю: „Ну и что? Пока здоровье позволяет, почему нет?“»

Стоит пояснить, почему мы предлагаем считать это стратегией отстранения. Такой формат позволяет информантке приводить аргументы к своим словам, не делая отсылки на конкретных людей и конкретные события, то есть не привязывая их к обстоятельствам собственной жизни. Выстраивается особая форма самопрезентации: информантка цитирует свои прошлые высказывания, и такое отстранение от роли субъекта дает ей возможность не оценивать свои прошлые поступки с точки зрения нынешнего «я», практически полностью исключая эмоциональный компонент нарратива как в прошлом, так и в настоящем.

Стратегия отстранения также реализуется через постоянное противопоставление своего опыта опыту других людей (суррогатных матерей или работников агентств), при этом своя позиция по теме часто не артикулируется, а сводится к признанию разного опыта, о чем свидетельствуют регулярно повторяющиеся фразы: «у всех по-разному» или «каждому свое».

«Просто многие хотят улучшить свои жилищные условия. Понятное дело, что есть сурмамы, которые, ну, финансово неграмотны, скажем так. Ну все мы разные. Соответственно, кто-то на себя тратит, кто-то на свое будущее. Ну тут каждому свое. Но суть одна: что мы просто улучшаем свое состояние, и кто-то просто не хочет на этом останавливаться».

Второй набор стратегий относится к стратегиям оправдания. При прочтении интервью складывается впечатление, что помимо интервьюера и информантки в разговоре всегда есть третья сторона, которая обязательно противостоит позиции Натальи, но при этом полностью обезличена.

«То есть я не чувствую себя с ним (с ребенком. — Примеч. авт.), какой-то связи или еще что-то, хотя многие мне пророчили депрессию и что там я буду вообще плакать. И я это скрываю. На самом деле — нет, от слова совсем».

Здесь мнение третьей стороны становится отправной точкой для объяснения своего образа жизни или позиции. Ключевым риторическим инструментом этого объяснения, используемым в силу деликатности темы, становится последовательное занятие промежуточной позиции между антагонистическими точками зрения.

«То есть я бы не расстроилась, если бы, например, у меня бы прекратилось общение что с одними, что со вторыми [родителями]. Потому что, я говорю, я даже на это и не рассчитывала. <...> И, я говорю, это выбор каждого. Я уважаю каждый выбор».



Агентность

Весь нарратив Натальи агентен, рационален и направлен на оправдание цели и средств, предпринимаемых для ее достижения. Но относительно социального дискурса вокруг суррогатного материнства, на который обращает внимание в своем рассказе и Наталья, он становится контрнарративом.

Перечислим некоторые характеристики, которые указывают на это. Наталья из Москвы, и для нее это важный момент идентичности. Для нее важно иметь собственную квартиру, что и стало главным мотивом для вступления в программу суррогатного материнства. Она активно подчеркивает, что суррогатное материнство — это осознанный выбор, и он был ее личной инициативой.

«И я обдумывала, обдумывала и решила сначала пойти в доноры. <...> И вот, сидя в декрете, я сижу и думаю, почему бы мне оставшийся мой декрет (у меня оставалось там полтора года до трех лет) не посидеть бы в декрете с пользой и не заработать бы еще и на первый взнос».

«То есть многие считают, что вот как так мог муж разрешить? Но это в первую очередь как бы мое желание».

Наталья описывает, как в ходе беременности самостоятельно принимала многие решения (например, выбор клиники) и доказывала их оптимальность биологическим родителям, а также вовлекалась в сообщество сурмам для получения необходимой информации.

Пройдя две программы, Наталья не останавливается, она еще сильнее профессионализирует себя и становится куратором других суррогатных мам. Непосредственным стимулом также выступает финансовый мотив, но интересно, как она описывает свое вхождение в эту среду через самостоятельное выстраивание связей с врачами, агентствами, биологическими родителями, построение репутации.

«Ну, в первую очередь, в кураторы просто так тоже не берут с улицы. Я непосредственно в плане ЭКО (подразумеваются ВРТ. — Прим. авт.) с 2020 года, вот в этой во всей сфере. И я за эти годы познакомилась с очень многими репродуктологами, с какими-то кураторами, тоже агентами в этой сфере. И, ну, как сказать, на хорошем счету у многих врачей. Ну опять-таки, это все заслуга того, что ты общаешься со всеми, тебя знают, ты показываешь себя в работе, и если ты показываешь себя с хорошей стороны, как ответственного человека, что ты можешь это все делать, то, соответственно, люди захотят с тобой работать».

Также Наталья ведет активную просветительскую деятельность на различных сетевых платформах, где рассказывает про свой опыт суррогатного материнства, общается с комментаторами, пытается объяснить другим людям реальность своей жизни, разоблачить мифы. Следует отметить, что через эти же каналы она производит и рекрутинг в рамках своей кураторской деятельности.

«Ну а что, надо об этом рассказывать, потому что люди неграмотны в этом плане. Кто-то говорит, что я рекламируюсь, пропагандирую, но никто не понимает основного посыла, что я как бы рассказываю о том, как это все происходит. Например, нас никто не насилует. Люди до сих пор думают, что сурмам насилуют чьи-то мужья. <...> И вот начинаю просто простыми вещами объяснять. До кого-то доходит, до кого-то все равно не доходит».

Еще одним важным, с ее точки зрения, результатом этой деятельности является выход из стигмы ее самой и помощь в преодолении стигматизации другим суррогатным мамам.

«Раньше это считалось... Ну, люди стыдились этого. Сейчас сурмамы больше начали рассказывать об этом. Потому что раньше это было, ну, как-то для многих это было стыдно. Вот я сурмама. Да вы что, не дай бог, кто-то узнает из соседей. Сейчас девочки начали об этом рассказывать, и это очень здорово. Я считаю, что этого не нужно бояться, стесняться и стыдиться».

Эмоциональность

Как уже упоминалось, в риторике Натальи практически отсутствуют эмоциональные элементы. Даже в ответе на прямой вопрос, направленный на выяснение этого аспекта, эмоции зацензурированы.

Интервьюер: А перед беременностью, поскольку это такое тяжелое, скажем так, мероприятие, очень длинное и утомительное, происходит какая-то эмоциональная подготовка или какое-то настраивание?

Наталья: Ну, у кого как. У меня, например, не было такого. Я говорю, вот моя первая программа быстро началась. И вторая тоже достаточно быстро. У кого-то, девочки кто-то настраивался, там, месяц-два, там, писал, нет, я лучше вначале в донорах схожу еще, там, подумаю. Ну то есть тут тоже у всех по-разному.

Однако когда эмоции все же возникают в нарративе, они облекаются в специфическую форму. Ключевой категорией становится ответственность: в начале интервью Наталья упомянула особую ответственность, которую она несет как суррогатная мама за ребенка, связав ее с эмоциями радости от окончания программы.

«И вот ты родил — и все: твоя зона ответственности закончилась, ты выдыхаешь, ты все, ты свободен и ты радуешься жизни».

Затем на стадии расспрашивания мы услышали довольно подробные объяснения этого чувства на каждом этапе беременности. Нужно отметить, что рассказ очень медиализированный и телесный в силу специфики темы.



Это один из немногих моментов, когда можно уловить эмоциональную нагруженность, хотя и не выраженную буквально, в речи информантки. Слово «ответственность» не связывается с какими-либо эмоциями, оно скорее их маскирует. В следующей цитате ответственность считывается в описанной цепочке действий:

*«Следующий этап — это подтверждение сердцебиения. **Хоть бы оно появилось**, это сердцебиение, чтобы эмбрион развивался правильно. Все, сердцебиение появилось. Дальше ты **сидишь, трясешься, ждешь** первого скрининга. Потому что на первом скрининге, как мы знаем, делают, сдают кровь на риски, да, патологий плода, на риски, как будет протекать беременность. И ты **переживаешь за это**, чтобы риски все были минимальными. Затем ты **ждешь**, когда наконец-таки ты **услышишь** шевеление малыша, потому что **все равно страшно**, когда ты, да, **лежишь и думаешь**, а все ли у него там хорошо, как он там себя чувствует? Он **не шевелится, ты его не чувствуешь, ну, не понимаешь**, в порядке?»*

Рассказ передает состояние стресса, даже страха, а также полной беспомощности перед процессом. Это один из редких моментов интервью, где рассказ Натальи лишен субъектности и агентности. И именно в этом нарративе можно найти одно из немногих упоминаний взаимодействия с ребенком (еще не рожденным), выраженных в практиках заботы о его самочувствии, а не в выполнении условий договора, как это фреймируется в остальном интервью.

Другим таким моментом взаимодействия стал ответ на вопрос, каким образом суррогатная беременность была объяснена собственному ребенку Натальи. Она говорит о том, что в силу его малого возраста было достаточно не акцентировать внимание на беременности. Беременность тут сводится до телесного выражения — «живот». Информантка считает нужным пояснить, что она разговаривала с животом (с нерожденным ребенком) только в отсутствие своего ребенка. Тут видится некоторое противоречие: с одной стороны, она отрицает наличие эмоциональной связи с ребенком, которого вынашивает, с другой — она все равно воспроизводит с ним традиционные материнские практики, направленные на установление эмоционального контакта, и, что более важно, считает нужным упомянуть и оправдать это в интервью.

«Мы рассказываем, что тут у него братик. Подготавливаем, да. И мы делаем всегда акцент на животе. Тут я его не делала от слова совсем... То есть это не говорит о том, что я не разговаривала с животом, там, еще что-то, нет, я с ним разговаривала, когда не было ребенка.»

Эмоции в рассказе сосредоточены не только на ответственности в ходе беременности, но и на альтруистических мотивах. Несмотря на финансовую мотивацию, в словах Натальи есть и понимание того, что она помогает людям, которые не могут иметь детей. Альтруистический мотив усиливается, когда Наталья узнает личные истории биологических родителей, их путь к родительству,

это становится для нее не просто работой, а миссией — помочь конкретным людям получить ребенка. Однако это усиливает и эмоциональную нагрузку:

«Плюс ответственность возрастает еще в те моменты, когда ты узнаешь историю биологических родителей, как они пришли к этому пути. Особенно если это последний эмбрион... В моей программе был последний; это был их последний эмбрион. <...> А тут — последний эмбрион, и ты понимаешь, насколько на тебя повесили вот это вот все, всю эту ответственность за этого ребенка. Как ты максимально должна помочь этим людям и помочь этому малышу родиться».

Биологические родители

Главными персонажами в этом нарративе, помимо Натальи, являются биологические родители. Сам ребенок в большинстве случаев не упоминается. В этом смысле интересно отметить яркий пример смещения фокуса: вопрос о ребенке спровоцировал ответ исключительно о родителях. В какой-то момент мы спросили Наталью, не хотелось ли ей продолжить общение с ребенком или получать про него какие-то новости? Ответ был про общение с биологическими родителями.

Интервьюер: *А было ли желание продолжать общаться с ребенком, с детьми после их рождения, получать известия о них?*

Наталья: *Вы знаете, нет. То есть я бы не расстроилась, если бы, например, у меня бы прекратилось общение что с одними (биородителями. — Прим. авт.), что со вторыми. Потому что, я говорю, я даже на это и не рассчитывала.*

Нормативность поведения как своего, так и других суррогатных матерей женщина оценивает, основываясь на мнении биологических родителей. Оправдание эмоциональной отстраненности от ребенка объявляется нормативным, потому что оно не вызывает тревогу у биоматери. Такая же риторика повторяется потом еще несколько раз, пусть и не так явно.

«Даже биомама сравнивала... Вот у меня вторая биомама, у нее было две сурмамы одновременно. То есть я родила первая, а вторая сурмама родила через три месяца после меня. И даже она говорит, что у нас с той сурмамой взгляд на детей разный. То есть у меня взгляд, она говорит: „Ну, у тебя взгляд, как у моей подруги, которая смотрит на моего родного ребенка. А у нее взгляд был непосредственно... Вот ей было тяжело“. То есть у сурмамы, у нее был взгляд привязанности. Вот она, к сожалению, привязалась, та сурмама. Она говорит: „Я прям вижу по ее глазам, что она прям постоянно вот смотрит так на ребенка“. Вот. Но там все хорошо тоже закончилось».

Критерии «хорошей» суррогатной мамы, «хорошего» агентства и «хорошей» программы также в большинстве случаев определяются биородителями,



их эмоциональным комфортом и их правом быть главными во время всего процесса.

«Многие мамы очень ждут всегда какие-то дополнительные плюшки. Но я считаю, что этого не должно быть. Это тоже инициатива биородителей».

Еще одним лейтмотивом интервью становится героизация опыта биологических родителей. Вероятно, это самый противоречивый момент всего интервью, так как соседствует с подавленным чувством материнства суррогатной мамы. С одной стороны, такая героизация позволяет принизить значимость своего опыта, выдвинув вперед биологических родителей, которым должны достаться все эмоции, как радостные, так и отражающие трудности родительства. С другой стороны, биологические родители становятся единственными людьми во время прохождения программы, к которым Наталья позволяет себе испытывать эмоции в силу эмпатии к их трудностям.

Особенно ярко это видно на примере с донорством яйцеклеток, потому что это процесс, симметричный тому, через который проходит биологическая мать. Наталья стала донором в начале своего пути и советует это сделать тем, кто хочет начать свой путь в ВРТ. Описывая свой опыт, она не углубляется в переживания, подчеркивает рациональность и обдуманность этого решения, а также его альтруистичность, поскольку донорство — это помощь женщинам, которые не могут сами родить. Физиологичные, неприятные моменты этой процедуры умалчиваются.

«И я обдумывала, обдумывала и решила сначала пойти в доноры. То есть мой путь во всем этом начался с донорства. Есть такая как бы у нас, разрешена такая же помощь, как, например, донорство яйцеклеток для женщин, у которых своих яйцеклеток, к сожалению, нет, либо они мутационные, то есть больные. И женщина может выносить ребенка и родить его, но не своего кровного. И, соответственно, ей нужен донор. И женщины чаще всего ищут донора, похожего на себя, чтобы и ребенок, соответственно, которого она будет вынашивать, тоже был похожий на нее. И я пошла в доноры».

Далее Наталья описывала, как близкое окружение интересуется ее деятельностью, как просят у нее совета по поводу репродуктологов и спрашивают, как начать заниматься ВРТ. В ответ она советует им начать с донорства яйцеклеток.

«Кто-то говорит: „Наташ, я вот тоже хочу попробовать сурмамой, но сейчас боюсь“. Я говорю: „Ну попробуй тогда в доноры сходить, если ты сейчас сурмамы боишься, хоть чуть-чуть как-то познакомишься с этой стороной, сходи в доноры“. В доноры можно сходить даже не имея своих детей. То есть главное, чтобы было 18 лет и позволял запас яйцеклеток, и по анализам было все хорошо. И пожалуйста, в добрый путь».

И особенно интересно смотреть, как контрастно описывается точно такая же процедура у биологической мамы. Этот рассказ был спровоцирован вопросом в конце интервью, как, по ее мнению, формируется связь биологических родителей с ребенком. Ответом на вопрос стал «путь», который здесь описан совсем иначе: очень физиологично, болезненно и эмоционально, — и завершается формулой: «это не конфетку съесть». Разница в описании обусловлена разницей в отношении к своему телу, телу других работниц ВРТ и телу биологической матери, а также в отношении их эмоций.

«Путь, который они проходят. Эмбрион не просто так дался. Кто-то, чтобы получить хотя бы один эмбрион, биомамма, например, биопане проще немножечко сдать биоматериал, а биомаме не так все просто. Чтобы ей получить яйцеклетки, сдать, ей нужно пройти гормонотерапию, уколы проколоть. То есть потом ее нужно ввести в наркоз, под наркозом забрать яйцеклетки, потом эти яйцеклетки оплодотворить. Не факт, что они оплодотворятся. Потом, если это возраст, то им нужно пройти ПГД (генетическая проверка эмбриона на генетические заболевания). И многие даже годы тратят, чтобы хотя бы один эмбрион получить. Делают там по 7, по 8, по 20 пункций просто женщины. Это тоже не конфетку съесть, чтобы получить хотя бы один эмбрион».

Первичный нарратив Натальи строился вокруг темы опровержения стереотипов относительно материнства. Помимо основного нарратива, можно выделить еще один, сфокусированный на теме биологических родителей, включая опыт общения с ними и подробное описание родов. Роды — один из немногих очень открытых эмоциональных эпизодов — мы видим глазами биологической мамы. Только ее действия и эмоции тут важны.

«И вот мы с био были на родах вместе. Она, бедная, там хуже меня, кажется, перепугалась, потому что роды были тоже непростые. Я как, извиняюсь, меня тошнило каждую схватку. Она все это видела. А мне было так стыдно в этот момент, что она это все видит. Я там вижу, она там в углу там бедная стоит, не знает, куда себя деть, как мне помочь»

Завершается этот нарративный фрагмент цитатой, которую мы уже приводили, про сравнение взглядов на ребенка Натальи и другой сурмамы. А цель всего нарратива — описать причину отсутствия привязанности Натальи к ребенку: это биологические родители и их любовь к ребенку, а также ее любовь к ним и их ответная благодарность.

«И вот когда я родила, я услышала этот крик. И первое, что сделала биомамма, она не подбежала к ребенку, она подбежала ко мне, начала меня обнимать. У нее слезы. Я смотрю на нее — и сама плакать начинаю. И она говорит: „Наташа, спасибо большое!“ То есть я в этот момент, это такой заряд адреналина, эндорфинов, просто это непередаваемые эмоции, такого ты никогда не испытываешь».



Заключительная ремарка

Поскольку в данной работе представлен анализ единичного случая, мы не можем делать выводы о суррогатном материнстве в целом. Поэтому представим обобщение рассмотренного кейса. Данное интервью — пример автобиографической работы, сделанной женщиной, цель которой — представить суррогатное материнство в качестве своего пути. Этой цели служат ярко артикулированная агентность женщины, фокус на нормативном для России восприятии суррогатного материнства как работы и источника денег. При этом замалчиваются или нормализуются неприятные моменты, ретушируется эмоциональность.

Информантка фокусируется на тех целях, которые она воспринимает как достижимые: заработке и борьбе с общественным мнением. У нее нет возможности избавиться от тяжелого эмоционального багажа, который, при отсутствии явной негативной окраски, остается внутренне противоречивым. Поэтому все эмоции и ответственность за них она перекладывает на биологических родителей. Наталья в какой-то момент интервью описывает опыт женщин, которые уезжают на программу в другие города, оставляя своих детей, из-за чего они, по ее мнению, испытывают «перенос любви» со своего ребенка на вынашиваемого. Полагаем, что метафора «переноса любви» подходит и для отношения Натальи к биологическим родителям. Не имея возможности сформировать эмоциональную связь с ребенком, которого она вынашивает, она направляет эти чувства на его родителей.

Литература / References

- Богомяжкова Е. С. Вспомогательные репродуктивные технологии в контексте социального неравенства // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6. № 4. С. 98–109. EDN: [VBCHXF](#)
- Vogomyagkova E. S. (2015) Assisted Reproductive Technologies in the Context of Social Inequality. *Sotsiologiya nauki i tekhnologiy* [Sociology of Science and Technology]. Vol. 6. No. 4. P. 98–109. (In Russ.)
- Денисова М. С. Суррогатное материнство в России и в мире: правовые вопросы и векторы социологических исследований. Круглый стол Лаборатории экономико-социологических исследований 22 февраля 2018 г., Москва, Россия // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 3. С. 141–149. EDN: [XRLIDJ](#) DOI: <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-3-141-149>
- Denisova M. S. (2018) Surrogate Motherhood in Russia and in the World: Legal Issues and Vectors of Sociological Research Round Table of the Laboratory for Studies in Economic Sociology, February 22. 2018. Moscow, Russia. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Journal of Economic Sociology]. Vol. 19. No. 3. P. 141–149. DOI: <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-3-141-149> (In Russ.)
- Душина А. Д., Керша Ю. Д., Ларкина Т. Ю., Проворова Д. Д. Легитимация коммерческого суррогатного материнства в России // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 1. С. 62–82. EDN: [VUZCMT](#) DOI: <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2016-1-62-82>
- Dushina A. D., Kersha Yu. D., Larkina T. Yu., Provorova D. D. (2016) Legitimation of Commercial Surrogacy in Russia. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Journal of Economic Sociology]. Vol. 17. No. 1. P. 62–82. DOI: <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2016-1-62-82> (In Russ.)
- Ларкина Т. Ю. Чей это ребенок? Проблема конструирования и деконструирования родственных уз на рынке донорских гамет // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. № 4. С. 73–92. EDN: [QNSYBP](#) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.6>

Larkina T. Yu. (2020) Whose Child is This? The Problem of Constructing and Deconstructing Kinship Bonds on the Donor Gamete Market. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No. 4. P. 73–92. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.6> (In Russ.)

Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Вспомогательные репродуктивные технологии глазами россиян // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 9. С. 879–888. EDN: YWRXVB DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869587321090073>

Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. (2021) Assisted Reproductive Technologies Through the Eyes of Russians. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk* [Herald of the Russian Academy of Sciences]. Vol. 91. No. 9. P. 879–888. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0869587321090073> (In Russ.)

Рождественская Е. Ю. ИНТЕР-энциклопедия: нарративное интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. № 4. С. 114–127. EDN: FDKZEU DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.8>

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2020) INTER-Encyclopedia: Narrative Interview. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No. 4. P. 114–127. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.8> (In Russ.)

Ткач О. А. «Наполовину родные»? Проблематизация родства и семьи в газетных публикациях о вспомогательных репродуктивных технологиях // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 1. С. 49–68. EDN: PZZIYR

Tkach O.A. (2013) "Half-Related"? Problematicization of Kinship and Family in Print Media Discussing Assisted Reproductive Technologies. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 11. No. 1. P. 49–68. (In Russ.)

Almeling R. (2011) *Sex Cells: The Medical Market for Eggs and Sperm*. Berkeley: University of California Press.

Berend Z. (2012) The Romance of Surrogacy. *Sociological forum*. Vol. 27. No. 4. P. 913–936. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2012.01362.x>

Berend Z. (2014) The Social Context for Surrogates' Motivations and Satisfaction. *Reproductive BioMedicine Online*. Vol. 29. No. 4. P. 399–401. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.07.001>

Corbin J., Morse J. (2003) The Unstructured Interactive Interview: Issues of Reciprocity and Risks When Dealing with Sensitive Topics. *Qualitative inquiry*. Vol. 9. No. 3. P. 335–354. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077800403009003001>

Cowles K.V. (1988) Issues in Qualitative Research on Sensitive Topics. *Western Journal of Nursing Research*. Vol. 10. No. 2. P. 163–179. DOI: <https://doi.org/10.1177/01939459880100020>

Deomampo D. (2013) Transnational Surrogacy in India: Interrogating Power and Women's Agency. *Frontiers: A Journal of Women Studies*. Vol. 34. No. 3. P. 167–188. DOI: <https://doi.org/10.5250/fronjwomestud.34.3.0167>

Elmir R. et al. (2011) Interviewing People about Potentially Sensitive Topics. *Nurse Researcher*. Vol. 19. No. 1. P. 12–16. DOI: <https://doi.org/10.7748/nr2011.10.19.1.12.c8766>

Fernandes G. C.M., Heidemann I.T.S.B., Costa M.F.B.N.A. (2017) Fritz Schütze's Autobiographical Narrative Analysis Applied to Nursing Research. *Texto & Contexto-Enfermagem*. Vol. 26. No. 2. P. 1–8. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072017004260015>

Gunnarsson P.J., Korolczuk E., Mezinska S. (2020) Surrogacy Relationships: A Critical Interpretative Review. *Upsala Journal of Medical Sciences*. Vol. 125. No. 2. P. 183–191. DOI: <https://doi.org/10.1080/03009734.2020.1725935>

Hochschild A. (2011) Emotional Life on the Market Frontier. *Annual Review of Sociology*. Vol. 37. No. 1. P. 21–33. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150137>

Jacobson H. (2021) Commercial Surrogacy in the Age of Intensive Mothering. *Current Sociology*. Vol. 69. No. 2. P. 193–211. DOI: <https://doi.org/10.1177/0011392120964909>



Jadva V., Imrie S., Golombok S. (2015) Surrogate Mothers 10 Years on: a Longitudinal Study of Psychological Well-Being and Relationships with the Parents and Child. *Human Reproduction*. Vol. 30. No. 2. P. 373–379. DOI: <https://doi.org/10.1093/humrep/deu339>

Kneebone E., Beilby K., Hammarberg K. (2022) Experiences of Surrogates and Intended Parents of Surrogacy Arrangements: A Systematic Review. *Reproductive Biomedicine Online*. Vol. 45. No. 4. P. 815–830. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.06.006>

Pande A. (2010) Commercial Surrogacy in India: Manufacturing a Perfect Mother-Worker. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. Vol. 35. No. 4. P. 969–992. DOI: <https://doi.org/10.1086/651043>

Ramos M.C. (1989) Some Ethical Implications of Qualitative Research. *Research in Nursing & Health*. Vol. 12. No. 1. P. 57–63. DOI: <https://doi.org/10.1002/nur.4770120109>

Siegl V. (2018) Aligning the Affective Body. Commercial Surrogacy in Moscow and the Emotional Labour of Nastraivatsya. *Tsantsa*. Vol. 23. P. 63–72.

Smietana M. (2017) Affective De-Commodifying, Economic De-Kinning: Surrogates and Gay Fathers Narratives in US Surrogacy. *Sociological Research Online*. Vol. 22. No. 2. P. 163–175. DOI: <https://doi.org/10.5153/sro.4312>

Snowden R., Mitchell G.D., Snowden E.M. (1983) *Artificial Reproduction*. London: Allen and Unwin.

Strathern M. (1995) Displacing Knowledge: Technology and the Consequences for Kinship. In: G. Faye, R. Rapp (eds.) *Conceiving the New World Order*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. P. 346–363.

Svašek M., Domecka M. (2020) The Autobiographical Narrative Interview: A Potential Arena of Emotional Remembering, Performance and Reflection. *The Interview*. Abingdon: Routledge. P. 107–126.

Szczepanik R., Siebert S. (2016) The Triple Bind of Narration: Fritz Schütze's Biographical Interview in Prison Research and Beyond. *Sociology*. Vol. 50. No. 2. P. 285–300. DOI: <https://doi.org/10.1177/0038038515570145>

Tashi S., Mehran N., Eskandari N., Tehrani T.D. (2014) Emotional Experiences in Surrogate Mothers: A Qualitative Study. *Iranian Journal of Reproductive Medicine*. Vol. 12. No. 7. P. 471–480.

Weis C. (2021) *Surrogacy in Russia: An Ethnography of Reproductive Labour, Stratification and Migration*. Leeds: Emerald Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/9781839828966>

Westland H. et al. (2025) Interviewing People on Sensitive Topics: Challenges and Strategies. *European Journal of Cardiovascular Nursing*. Vol. 24. No. 3. P. 488–493. DOI: <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvae128>

Сведения об авторе:

Анастасия Алексеевна Моисеева — магистрант, стажер-исследователь Центра исследований современного детства, Институт образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** mn_0911@mail.ru. **ORCID ID:** 0009-0001-9857-7398.

Статья поступила в редакцию: 04.09.2025

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.4.

.....

The Making of a Surrogate Motherhood: Emotional Labor and Professionalization in Biographical Narrative⁴

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.2

Anastasiya A. Moiseeva HSE University, Moscow, Russia
E-mail: mn_0911@mail.ru

Using the example of a biographical interview with a surrogate mother from Russia, the article explores how a woman constructs her experience within the framework of commercial reproductive labor. The analysis shows that the key strategies of her narrative are the professionalization of her activity and emotional detachment from the child she carries. In this process, the central figures onto whom all emotions and meanings are transferred are the biological parents. Despite the dominant discourse of conscious choice and financial motivation, the experience of surrogate motherhood requires intense emotional work and complex negotiation of conflicting social roles. The conducted biographical interview is also considered as an example of research work with a sensitive field.

Keywords: surrogate motherhood; assisted reproductive technologies; reproductive labor; biographical method

Author Bio:

Anastasiya A. Moiseeva — Master's Student, Research Intern, Centre for Modern Childhood Research, Institute of Education, HSE University, Moscow, Russia.
E-mail: mn_0911@mail.ru. **ORCID ID:** [0009-0001-9857-7398](https://orcid.org/0009-0001-9857-7398).

Received: 04.09.2025

Accepted: 18.03.2026

⁴ This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.

Исследовательская рефлексия



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.3
EDN: IEVTEK

«Как Вы это называете?»: сенситивность, сопротивление и рефлексивность в поле постконфликтной памяти Чечни

Ссылка для цитирования:

Горюшина Е. М. «Как Вы это называете?»: сенситивность, сопротивление и рефлексивность в поле постконфликтной памяти Чечни // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 57–73. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3> EDN: IEVTEK

For citation:

Goryushina E. M. (2026) "How Do You Name It?": Sensitivity, Resistance, and Reflexivity in the Field of Post-Conflict Memory in Chechnya. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 57–73. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3>



Горюшина Евгения Михайловна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»;
Институт Китая и современной Азии РАН,
Москва, Россия
E-mail: egoryushina@hse.ru

Статья основана на многолетнем опыте полевой работы в Чечне и посвящена методологическим и этическим вызовам исследования памяти о вооруженных конфликтах в условиях ее тотальной секьюритизации. Анализируя практику сбора корпуса из более чем 150 полуструктурированных интервью с бывшими комбатантами и очевидцами событий 1994–2009 годов, автор рассматривает специфику чеченского поля как сенситивного в тройном измерении: как зоны политических табу, где публичное высказывание о прошлом жестко регламентировано; как пространства непроговариваемой травмы, защищенной сложными культурными механизмами; и как среды, где фигура исследователя сама становится источником потенциального риска для информантов, что требует особых протоколов безопасности и этической рефлексии.

В фокусе внимания — стратегии ведения интервью в условиях перманентного зондирования границ допустимого, ключевым маркером которого выступает вопрос-фильтр, определяющий саму возможность разговора:

«Как Вы это называете?». Анализируются переговорные практики выбора нейтрального лексикона, механизмы внутренней цензуры и самоцензуры, а также проблема архивации «неудобных» нарративов в ситуации, когда их публикация может быть небезопасной для респондентов. Особое внимание уделяется рефлексии позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы о войне, и тому, как гендерная и этническая маркированность исследователя как аутсайдера парадоксальным образом может становиться ресурсом для выстраивания доверия.

Центральным тезисом является утверждение о необходимости методологического сдвига: от попыток фиксации фактов — к анализу самих условий производства устной истории, где умолчания, паузы, лакуны и защитные речевые стратегии, коренящиеся в конфессиональном видении пережитого опыта, становятся ключевыми источниками для понимания работы памяти в постконфликтном обществе. Такой подход позволяет увидеть в ограничениях, накладываемых сенситивным полем, не препятствие, а ценный материал для анализа того, как травматическое прошлое продолжает жить в настоящем, будучи осмысленным сквозь призму религиозной традиции и коллективных представлений о судьбе и стойкости.

Ключевые слова: сенситивное поле; память о войне; постконфликтная память; устная история; полуструктурированное интервью; секьюритизация памяти; исследовательская этика; рефлексивность

Память о чеченских кампаниях 1994–1996, 1999–2001/2009 годов — классический пример сенситивного поля. В качественных исследованиях сенситивность предполагает работу с темами повышенного риска для участников и исследователя [Lee, 1993: 1–20], связанными с насилием, стигмой или актуальными политическими конфликтами. В исследованиях памяти сенситивность многократно усиливается: нарративы о прошлом становятся ресурсом легитимации, инструментом взаимных обвинений и объектом политического контроля. Говорить о прошлом в таком контексте — значит немедленно вступить в спор о настоящем, о границах допустимого и безопасного.

Поле памяти о чеченских конфликтах — пространство, где правила говорения подвижны, ситуативны и крайне зависимы от статуса собеседника, присутствия посредников и ощущения угрозы. Ключевой вопрос этой статьи заключается не в том, что помнят о войне в Чечне, а в том, как возможно (или невозможно) говорить об этом прошлом в условиях его тотальной секьюритизации и какие методологические и этические стратегии позволяет выработать позиция исследователя, находящегося одновременно внутри и снаружи этого поля.

Данная статья — рефлексия многолетнего (около девяти лет) опыта работы в этом поле. Ее задачи: во-первых, проанализировать сенситивное поле как источник данных, и, во-вторых, описать практики зондирования границ допустимого, ключевым маркером которых выступает вопрос-фильтр: «Как



Вы это называете?». В-третьих, проследить, как профессиональный контекст формирует режимы умолчания и защиты от травмы. Наконец, отрефлексировать парадоксальные эффекты позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы. Итоговая цель — не столько представить новые исторические данные (многие из которых по-прежнему не могут быть обнародованы), сколько проанализировать условия их производства, или, точнее, систематического непроизводства. Возможен ли диалог о насилии там, где память о нем тотально секьюритизирована?

В основе статьи — анализ корпуса из более чем 150 полуструктурированных интервью, собранных в 2017–2024 годах. Материал демонстрирует, что с отменой режима контртеррористической операции (КТО) в 2009 году напряженность вокруг прошлого не исчезла, но трансформировалась. Прямые рассказы середины 2000-х к 2010-м годам сменились фрагментарными, аллегорическими нарративами и практикой избирательного умолчания. Зондирование границ стало обязательным ритуалом. В частности, респонденты настойчиво требовали определить, на каком языке исследователь будет говорить о событиях. «А Вы как это называете? Войной? Конфликтом? Кампанией?» — данный вопрос служил ключевым фильтром, определявшим саму возможность разговора. Таким образом, чеченское поле может быть рассмотрено через призму секьюритизации памяти. Вслед за Марией Мялскоо [Mälksoo, 2015] в статье под секьюритизацией памяти понимается процесс, при котором дискуссия о прошлом выводится из публичной сферы и переводится в плоскость политической безопасности, что делает саму постановку вопроса о травме или несправедливости потенциально опасным высказыванием. Важно подчеркнуть, что данный термин используется здесь не в своем исходном финансово-экономическом значении, а исключительно в рамках политической теории для описания механизмов властного контроля над историческим нарративом.

Далее в статье последовательно рассматриваются: выбор поля и методологический ответ на его вызовы; структура и внутренняя логика корпуса; влияние профессионального контекста на режимы высказывания; материальный мемориальный ландшафт как отражение чувствительности; этика безопасности; и, наконец, рефлексия о позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы о войне. Сквозной тезис — необходимость смещения фокуса с погони за фактами на анализ условий производства речи, где лакуны и цензура выступают первичными источниками для понимания социальной травмы и власти в постконфликтном обществе.

Теоретическая рамка: чувствительность, секьюритизация и концептуализация травмы

Прежде чем перейти к анализу полевого материала, необходимо прояснить концептуальные основания исследования, а также дать определение ключевого, но часто размытого понятия «травма». В данной работе следует отказаться от клинического или психологизаторского понимания травмы

как диагноза (ПТСР) и от наивно-реалистического подхода, рассматривающего травматический опыт как нечто, что можно «извлечь» из респондента с помощью «правильных» вопросов. Данное исследование рассматривает травму как дискурсивный и культурный феномен, который не существует вне способов своего выражения и сокрытия [Douglass, Vogler, 2003].

В этом контексте травма — это не событие прошлого, а разрыв в ткани настоящего, который проявляется в сбоях нарратива: в лакунах, оговорках, паузах, в переключении с индивидуального языка уязвимости на коллективный язык религиозной стойкости, в отказе от психологизации в пользу сакрализации. Иными словами, изучается не сама травма, а те культурные и политические механизмы, которые она приводит в действие и которые, в свою очередь, формируют режимы высказывания.

Такой подход напрямую связан с пониманием сенситивного поля. Поэтому сенситивность будет определяться через потенциальную угрозу для участников и исследователя. Однако в контексте Чечни эта угроза имеет тройную природу. Во-первых, это политическая угроза, проистекающая из секьюритизации памяти [Mälksoo, 2015], где дискуссия о прошлом становится вопросом безопасности. Во-вторых, это угроза социальная и культурная, связанная с нарушением принципа осмотрительности (чеч. *хьожуш хилар*) и неписаных правил гендерного и профессионального этикета. В-третьих, это угроза экзистенциальная, коренящаяся в невозможности вместить опыт насилия в рамки линейного биографического рассказа.

Поэтому исследовательское внимание смещается с попыток верификации свидетельств на анализ политики и поэтики самого свидетельства. Память в этой перспективе — вовсе не архив фактов, а поле битвы за легитимный язык описания прошлого, где молчание зачастую говорит громче слов.

Почему Чечня? Выбор исследовательского поля

Выбор Чеченской Республики в качестве исследовательского поля определили методологические, временные и организационные факторы. Работа в рамках гранта РФФИ, начатая в 2017 году, предполагала изучение не только исторических, но и современных конфликтов. Чеченские кампании представляли собой уникальный кейс, поскольку временная дистанция между окончанием активной фазы боевых действий (режим КТО был снят 16 апреля 2009 года) и временем исследования составляла всего около восьми лет. Такая хронологическая близость создавала условия, при которых процессы формирования памяти и идентичности находились в активной, сырой фазе, а их носители оставались непосредственными и вполне современными акторами.

При этом в общественном и академическом восприятии регион устойчиво маргинализировался как пространство потенциальной опасности, о чем свидетельствовали стереотипные вопросы, которые мне, как исследователю, постоянно задавали коллеги и просто знакомые за пределами региона: «Безопасно ли там?», «Стреляют ли еще?», «Война вообще закончилась?».



Сама устойчивость этих вопросов указывала на колоссальный разрыв между реальностью поля и его образом во внешнем мире. Возникал парадокс: поле было высоко актуальным для анализа становящихся нарративов, но оставалось периферийным в практике эмпирических социальных исследований.

Критическим обстоятельством, во многом определившим дизайн исследования, стала внутренняя динамика исследовательского коллектива проекта РНФ¹. Мужская часть группы, сославшись на соображения безопасности, предпочла ограничиться анализом вторичных данных, что де-факто сделало полевую работу исключительно моей задачей. Вместо того чтобы интерпретировать этот факт в категориях личной оценки (как избегание), его следует рассматривать как важный диагностический маркер самого поля. Оценка риска мужчинами-коллегами, их отказ от прямого контакта с полем — эмпирическое свидетельство высокой степени чувствительности и перформативной маскулинной опасности, которой наделяется чеченский контекст в академическом и экспертном воображении.

К 2023 году, в рамках уже другого проекта РНФ², поле перестало быть лакуной, куда нужно пробиваться в одиночку. Оно превратилось в проработанный эмпирический ландшафт, где стало возможно изучать не наличие памяти, а механизмы ее закрепления. Смена фокуса с вопроса: «Есть ли там что исследовать?» — на вопрос: «Как именно это работает?» — и оказалась главным маркером того, что поле состоялось.

Материал и дизайн исследования

Эмпирическую основу составляют более 150 полуструктурированных интервью, собранных в 2017–2024 годах. Выборка формировалась по принципу целевого отбора и снежного кома через сети доверия, где ключевую роль играли посредники и личные рекомендации, служившие залогом безопасности [Lee, 1993: 88–92]. В корпус вошли свидетельства людей, чьи биографии напрямую затронуты чеченскими кампаниями: тех, кто прожил этот период на территории Чеченской Республики, был вынужден ее покинуть или чья траектория оказалась вовлечена в логику конфликта. Градация по степени вовлеченности в вооруженные действия в интервью отсутствовала, так как респонденты описывали свой опыт исключительно через призму повседневного выживания, потери и адаптации к экстремальным обстоятельствам.

Инструментарий претерпел существенную адаптацию [Kvale, Brinkmann, 2009]. Первоначальный опросник, разработанный руководителем проекта в 2017 году на основе методик работы с ветеранами Великой Отечественной войны, оказался нефункциональным в чеченском поле. Пилотное тестирование в Ростовской области (2017) показало его полную несостоятельность,

¹ РНФ № 17-18-01411 «Война и население юга России: история, демография, антропология» (2017–2019 гг.).

² РНФ № 23-28-01643 «Институционализация коллективной памяти в постконфликтный период в Чечне: динамика и закономерности» (2023–2024 гг.).

поскольку вопросы, рассчитанные на иную нарративную (и религиозную) традицию, вызывали лишь настороженное молчание или формальные отказы. Потребовалась полная переработка инструмента с учетом локального контекста, сенситивности темы и коммуникативных норм.

Итоговый (опорный) опросник включал 67 вопросов. Первые пять касались базовых демографических данных и контекста биографии. Основной блок, построенный по тематическому принципу, фокусировался на повседневных практиках, стратегиях выживания, восприятию пространства и времени в период конфликта, а также на современных интерпретациях прошлого. Ключевым элементом протокола стало процедурное и этическое оформление интервью [Kvale, Brinkmann, 2009]. Перед каждой беседой информанту предоставлялся документ (договор) о добровольном информированном согласии, где фиксировались цели исследования, гарантии анонимности (с возможностью выбора псевдонима или полного отказа от идентификации), условия использования материалов исключительно в научных целях и право респондента прекратить интервью в любой момент. Исследователь принимала на себя полную ответственность за аудиозапись (если она разрешалась), ее расшифровку, безопасное хранение и неразглашение. Этот протокол, хотя и воспринимался частью респондентов с недоверием, служил важным инструментом легитимации исследования и создания минимальных рамок безопасности для обеих сторон.

Организация полевой работы и эволюция корпуса

Полевые исследования проводились в формате экспедиций продолжительностью 10–14 дней. Ключевой особенностью стал принцип размещения. Я сознательно избегала проживания в гостиницах, останавливаясь, как правило, в чеченских семьях либо в обычной квартире не в центре чеченской столицы. Это проживание на гостеприимных началах (чеч. *хьошалла*) было не столько бытовым решением, сколько методологической практикой [Fujii, 2018]. Оно позволяло выстраивать доверие органично, включаться в повседневный ритм, наблюдать невербальные контексты и получать доступ к историям в неформальной обстановке, что принципиально невозможно при «приездном» формате.

География работы сознательно не ограничивалась Чеченской Республикой и включала регионы с чеченской диаспорой, а также места проживания вынужденных переселенцев: Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Москву и Московскую область. Работа в диаспоре, также часто построенная на принципе гостеприимства, создавала иную коммуникативную среду, позволяя обсуждать прошлое в условиях большей дистанции от актуального политического контекста республики.

Доступ к респондентам-чеченцам был жестко опосредован сетями доверия, требовал гарантий влиятельных посредников и почти всегда ограничивался рамками, задаваемыми информантами (анонимность, отказ от аудиозаписи,



контроль тем). Поэтому корпус интервью, сфокусированный на чеченских нарративах, сложился как вынужденный компромисс. Он отражает структуру условной коммуникации, где сама возможность разговора — редкий и строго обусловленный ресурс.

Подобная обусловленность коммуникации напрямую влияла на технику фиксации материала, потребовав разработки гибкого протокола работы с данными. В ситуации, когда доступ к нарративу определялся ограничивался рамками, задаваемыми информантами, единый стандарт записи оказался невозможен. В ответ на эти вызовы сложилась ситуативная, но строго документируемая система, которую можно назвать разделенным протоколом. Решение о способе фиксации принималось в каждом конкретном случае исходя из уровня доверия и прямого требования респондента и незамедлительно фиксировалось в полевом дневнике.

Первый режим — аудиозапись на диктофон. Она применялась только при явном информированном согласии респондента. Как правило, это происходило на поздних этапах работы, после нескольких неформальных встреч или при посредничестве особо доверенного лица. В таких ситуациях диктофон выступал гарантом серьезности намерений исследователя. Такие интервью давали наиболее развернутые и нарративно связанные тексты.

Второй, наиболее распространенный режим — параллельное конспектирование от руки. Респондент соглашался на беседу, но категорически запрещал аудиозапись. В этом случае велись подробнейшие записи непосредственно во время интервью. Это неизбежно меняло динамику разговора — паузы удлинялись, темп снижался, — но позволяло фиксировать смысловые блоки, ключевые фразы и логику повествования. Сразу после интервью, в тот же день, эти наброски расшифровывались и по свежим следам дополнялись в электронном виде.

Третий режим — реконструкция интервью, или запись по памяти. Он применялся в наиболее напряженных или неформальных ситуациях (например, при случайных разговорах в машине, в моменты, когда сам факт записывания мог разрушить хрупкое доверие). В таких случаях никаких записей в момент разговора не велось. Однако сразу по возвращении в место проживания производились максимально детальные записи всего, что удалось запомнить, фиксировались не только факты, но и атмосфера, жесты, общий настрой собеседника.

Принципиально важно, что тип фиксации каждого интервью строго задокументирован в полевом дневнике и метаданных архива. Контроль за субъективностью исследователя в такой системе обеспечивался не внешней верификацией (которая в данных условиях часто невозможна), а внутренней рефлексивностью: постоянным сравнением данных, полученных разными способами, анализом того, почему в одном случае стала возможна запись, а в другом — нет. Сами условия фиксации, таким образом, становились не технической деталью, а частью данных о сенситивности поля.

Формирование финального фокуса исследования стало результатом двойной логики — научной целесообразности и полевой необходимости. В ходе

пилотных интервью выяснилось, что нарративы бывших военнослужащих федеральных сил требуют отдельного исследовательского дизайна. Смысловые рамки, мотивационные структуры и языки описания опыта у ветеранов первой (1994–1996) и второй (1999–2001/2009) кампаний оказались глубоко различны [Горюшина, 2019: 241], что указывало на необходимость их изолированного анализа в рамках другого проекта. Это позволило сконцентрироваться на группе, являвшейся основным объектом насилия и политики памяти, чьи нарративы производились в режиме постоянного внешнего и внутреннего контроля. Интервью с «федералами», представляющие безусловную ценность, составили отдельный архив и выведены за рамки настоящего анализа.

Структура корпуса и его внутренняя логика

Важнейшая характеристика корпуса — выраженная демографическая однородность. Подавляющее большинство респондентов — мужчины чеченской национальности, мусульмане-сунниты не младше 38–40 лет на момент сбора интервью. Эта тройная рамка (гендерная, этническая, конфессиональная) структурировала полевые взаимодействия, доступ к нарративам и сами режимы говорения. Данная асимметрия отражает не только ограничения доступа, но и нарративное неравенство, заложенное в поле публичной памяти, где мужчины исторически обладают символической монополией на свидетельство о войне как о публично-политическом событии.

Мужские нарративы конструировались вокруг сюжетов мобильности, проверок, «зачисток», стратегий выживания и сложных решений в условиях крайней необходимости. Отдельной и этически насыщенной темой выступала погребальная практика. В исламской традиции, требующей предать тело земле как можно быстрее (до заката), ритуал похорон в условиях постоянной угрозы превращался в акт высочайшего морального долга и экзистенциального выбора. Так, один респондент описал ситуацию, когда мужчины несли тело убитого односельчанина, завернутое в ковер, по открытому полю под обстрелом. Они стояли перед неразрешимой дилеммой: исполнить религиозный долг, рискуя жизнью, или поддаться инстинкту самосохранения. Этот случай обнажал конфликт между священным предписанием и предельной уязвимостью, переводя тему смерти из плана личной утраты в план коллективной этической травмы.

Знаковым методологическим переломом стало интервью 2020 года, где респондент, избегая политических оценок, описал участие в вооруженном формировании как сугубо прагматический акт — единственную доступную стратегию выживания и обеспечения своей семьи. Этот нарратив не только выявил мотивационную сложность, остающуюся за рамками публичных дискуссий, но и продемонстрировал, как внутренняя логика поля предопределяет доступные сценарии артикуляции опыта.

Немногочисленные женские интервью раскрывали иное измерение опыта, сосредоточенное на воспроизводстве повседневности в условиях



коллапса. Их относительная редкость в корпусе — также симптом специфики чувствительного поля, где частные, «домашние» измерения травмы вдвойне защищены: общим страхом перед любыми высказываниями и гендерными нормами, ограничивающими публичность женского голоса. Женщины-респондентки фокусировались на утратах, заботе и поддержании жизни. Их рассказы были насыщены конкретикой: как разводили костры во дворах пятиэтажек, чтобы приготовить еду на целый подъезд; как в районе Старых промыслов месяцами обходились без электричества, а его подача вызвала почти шок от непривычно яркого света.

Таким образом, демографический состав корпуса и тематическое различие нарративов стали объектом критической рефлексии. Мужские истории об этике смерти и женские нарративы об этике выживания образуют две взаимодополняющие системы свидетельства, ставшие доступными исследователю ровно в той мере, в какой это позволяла логика принудительной селективности поля.

Конфессиональный контекст и его влияние на режимы высказывания

Доминирование респондентов-мусульман отражает укорененность коллективной памяти в религиозно-культурном этосе. В рамках местной традиции память о коллективном страдании подвергается интенсивной этизации и сакрализации. Однако ее осмысление редко носит характер открытого политического протеста. Оно инкорпорируется в рамки религиозного мировосприятия, где испытания интерпретируются через призму веры, стойкости и неизбежных жизненных трудностей. Это формирует нарративный режим, для которого характерен уход от прямой исторической или политической каузальности.

Рассказ о трагических событиях нередко облекается в формулы, минимизирующие личную агентность. Как следствие, попытки обсуждения конкретных моральных дилемм, личной ответственности или критической оценки действий сторон часто наталкивались на мощный культурно-религиозный барьер, ограничивающий рефлексивность и перенаправляющий ее в плоскость коллективной солидарности, долга перед семьей и тейпом.

Полевая работа осложнялась необходимостью постоянной адаптации к строгим нормам гендерного и религиозного этикета (адата и шариата). Как женщина-исследователь, я была вынуждена тщательно соблюдать писанные и неписанные правила чеченской коммуникации, что жестко регламентировало условия любой встречи. В некоторых случаях становились обязательными присутствие третьих лиц (родственников-мужчин), выбор строго определенных, «разрешенных» пространств (например, помещения дома, но при открытых дверях), ограничения в невербальном поведении — все это формировало исходные рамки диалога. Парадоксальным образом, изначально маркированная и ограничивающая позиция в ряде случаев открывала пространство

для неожиданной откровенности. Будучи воспринятой как лицо, заведомо лишённое авторитета в «мужских» вопросах войны и политики, я могла фиксироваться респондентом как «безопасный» и «некомпетентный» слушатель. Это иногда позволяло уйти от ожидаемых героических клише к обсуждению будничных, но экзистенциально важных тем: глубоко скрываемого страха, экономических и бытовых стратегий выживания семьи. Ключевую роль в легитимации моей работы сыграло сопровождение коллеги-чеченца, чье присутствие гарантировало соблюдение норм и служило мостом доверия.

Важнейшим фактором, влияющим на производство речи в постконфликтной Чечне, является принцип осмотрительности. Эта социальная практика, сопоставимая со стратегией сокрытия уязвимости перед лицом внешней силы, в данном контексте приобрела характер повседневной технологии выживания. В полевой работе данный принцип материализовался в диалогах с мужчинами-респондентами. Нередко дискуссия упиралась в категорическое заявление, служившее риторическим щитом, закрывающим дальнейшую рефлексию: «Я тебе говорю, что это так и не иначе». Прямые отсылки к этой логике звучали и в более личных признаниях, четко выражавших внутренний запрет на демонстрацию слабости: «Я не хочу показывать свои уязвимости».

Особенно показательным был религиозный нарративный щит, активировавшийся при попытке обсудить психологические последствия травмы. На прямой вопрос о ПТСР или психологической реабилитации следовала характерная реакция: «Мы — мусульмане. Дуа и намаз излечивают любые душевные раны». Этот ответ — многослойный культурный акт. Он перекодирует травму из медицинской плоскости в плоскость религиозного испытания, делегитимизирует необходимость профессиональной психологической помощи как чуждую практику и окончательно закрывает болезненную тему. Вера становится социально одобряемым способом отказа от публичной рефлексии о личной уязвимости.

Этот отказ от психологизации опыта в пользу его сакрализации — ключевой элемент местной психологии выхода из войны. Он позволяет сохранить целостность личности и групповую солидарность, не прибегая к языку травмы, который может быть воспринят как признак слабости или неверия. В интервью такая установка проявлялась как избирательная искренность. Респондент мог детально описывать физические лишения, но переходил к религиозным формулам или умолчанию, как только разговор касался моральных оценок, дилемм насилия или роли конкретных акторов в чеченском конфликте.

Этика безопасности и аналитическая рефлексия

Работа в чеченском чувствительном поле требовала балансирования между научным интересом и минимизацией двусторонних рисков. Для респондентов это были риски публичности, репутационных потерь или преследований. Для исследователя — риск ретроспективного использования материалов в изменившемся контексте, когда сегодняшняя нейтральная расшифровка



завтра может быть воспринята как компромат. В ответ сформировалась стратегия отсроченной архивации и разделенного хранения данных [Wood, 2006: 373–386]. Чувствительные аудиозаписи и расшифровки кодировались и хранились отдельно от анкет. Полевые заметки велись от руки и хранились обособленно. Часть интервью изначально собиралась с расчетом на анализ в будущем, когда изменение ситуации сделает их публикацию допустимой и безопасной. Это выступило осознанной политикой ответственности за собранные личные данные.

Методологическим ключом к снижению напряжения стал выбор нейтрального, деполитизированного лексикона. Использование официальной формулировки «внутренний вооруженный конфликт» (вместо эмоционально заряженных «война» или «антитеррористическая операция») служило важным сигналом, демонстрирующим намерение вести диалог в рамках условно-нейтрального языка, а не вовлекаться в идеологический спор. Для многих респондентов это также становилось знаком того, что исследователь понимает степень табуированности темы и ищет максимально безопасную форму для ее обсуждения.

Подобная осторожность распространялась и на обращение с академическим канонем. Критические оценки респондентами ряда работ (в частности, монографии В. А. Тишкова «Общество в вооруженном конфликте», 2001), воспринимаемых частью чеченской интеллигенции как взгляд «извне» и «сверху», служили важным маркером чувствительности. Они указывали на разрыв между официальным академическим знанием о конфликте и его приватным, эмоционально переживаемым образом в памяти сообщества. Однако, будучи частью академического пространства, я не могла позволить себе открытую рефлексию об этих оценках в публикациях, это поставило бы под удар возможность дальнейшей работы. Ситуация ярко иллюстрирует, как чувствительное поле диктует условия молчания не только респондентам, но и исследователю, вынуждая его к стратегической самоцензуре.

Особого проговаривания в этом контексте требует вопрос о моем соавторстве с чеченскими коллегами (см., например, [Осмаев, Горюшина, 2023; Горюшина, Алхастова, 2023]). В академическом пространстве сложилась негласная, но отчетливо ощутимая монополия чеченских исследователей на производство знаний о Чечне. В этой логике (теоретически) «аутсайдер» может претендовать лишь на роль технического соавтора или интерпретатора, но не на единоличный голос. Я рассматриваю эту ситуацию не как ограничение, а как еще одно проявление чувствительности поля, но уже в его академическом измерении. Во-первых, это маркер глубокой укорененности темы, поскольку память о конфликте остается прерогативой тех, кто разделяет коллективный опыт, и любое вторжение извне требует легитимации через включенность в местные сети (в том числе через соавторство). Во-вторых, это форма этического контроля. Поэтому присутствие соавтора-чеченца в публикации служит для меня как для исследователя дополнительной гарантией того, что мой взгляд не станет невольным воспроизводством колониальной оптики, а интерпретация не нарушит локальных культурных и этических норм.

Следовательно, соавторство в данном случае служит не столько академической практикой, сколько осознанной этической стратегией, позволяющей балансировать между правом на исследование и признанием права сообщества на собственный нарратив.

Данный подход был напрямую связан с центральным аналитическим смещением. Я изначально отказалась от задачи установления объективных фактов или верификации свидетельств в пользу анализа самих режимов говорения о прошлом [Fujii, 2010: 231–241]. Интервью в такой парадигме не могло выступать источником «правды», оно выполняло функцию доступа к тому, как человек здесь и сейчас реконструирует свою биографию в травматическом пространстве, пронизанном политическими табу и культурными кодами.

Наиболее ярко эта связь проявилась в проблеме номинации событий. Предварительное зондирование — «Как Вы это называете?» — было ключевым элементом полевого протокола. Согласие респондента говорить о «конфликте» или его твердое: «это была война», — мгновенно выстраивало смысловые границы [Thompson, Bornat, 2017] и определяло уровень доверия. Это было особенно значимо на фоне исторического контекста, в котором первая кампания пришлась на период, когда постсоветская Россия сама находилась в поиске языка для самоопределения.

Важной особенностью стало глубинное историческое наложение травм. Для многих респондентов кампании 1990-х — 2000-х годов воспринимались не как изолированное событие, а как прямое продолжение коллективной травмы насильственного выселения (в общепринятом дискурсе — депортации) 1944 года. В таком нарративе война представляла новым витком длительной исторической стигматизации, что придавало личным историям измерение общенациональной судьбы [Горюшина, Алхастова, 2023: 46]. Этот взгляд подкреплялся символическим разрывом в речи: Чечня или Кавказ часто противопоставлялись России, а поездка в Москву описывалась как путешествие в Россию. Такая языковая маркировка фиксировала не только географическое, но и культурно-цивилизационное отдаление, ощущение себя вне общего политического пространства.

Каждое интервью строилось на двойной оптике. Респондент, рассказывая о похоронах под обстрелом, имплицитно или эксплицитно давал оценку смене эпох — переходу от советской нормативности к хаосу 1990-х и новой авторитарной стабильности 2000-х. Задача исследователя заключалась в том, чтобы удерживать в фокусе оба плана, видя в частной истории точку входа в понимание работы коллективной памяти и механизмов ее политической секьюритизации.

Женщина-интервьюер в мужском опыте войны

Моя позиция женщины-исследовательницы, «аутсайдера» и по этничности, и по гендеру в поле, где доминировали мужские нарративы о войне, создавала комплекс парадоксальных условий. С одной стороны, в классической полевой



методологии считается, что интервьюеру-женщине зачастую легче устанавливать контакт с респондентами-мужчинами. С другой — в патриархальном чеченском обществе это «преимущество» превращалось в дополнительную сложность. Существовал риск, что меня как «пришлую» женщину могли воспринять не как нейтрального исследователя, а как объект для проявления симпатии или, наоборот, строгого игнорирования согласно гендерным нормам.

Ключом к преодолению этого барьера стала осознанная стратегия культурной мимикрии при жестком соблюдении профессиональных границ. Я целенаправленно воспроизводила внешние атрибуты, сигнализирующие об уважении к местному укладу: закрытая одежда, юбка в пол, платок на плечах. Это было не «ряженьем», а невербальным коммуникативным кодом: «Я знаю ваши правила и готова их соблюдать». Адаптация достигала уровня телесного автоматизма. Я усвоила норму, согласно которой в присутствии вошедшего мужчины женщине следует привстать в знак приветствия. Это правило настолько укоренилось, что я ловила себя на том, что автоматически встаю при аналогичной ситуации уже в московской, нечеченской среде. Этот мелкий эпизод иллюстрирует, насколько глубоко сенситивное поле способно перестраивать подсознательные реакции исследователя.

Одновременно я не допускала размывания собственной профессиональной идентичности. Четкое выстраивание границ, сдержанность в сочетании с серьезным интересом к культуре постепенно способствовали формированию уважительного отношения. Поле заставило меня играть по его правилам, но я использовала эти правила для легитимации своего присутствия. Эффект был настолько глубоким, что в Грозном местные жители начинали обращаться ко мне на чеченском, не идентифицируя как очевидную «чужую». Это был знак поверхностного, но значимого принятия.

Мужчины-респонденты, особенно имевшие опыт вооруженного противостояния, изначально воспринимали интервью как нечто формальное и подозрительное. Однако моя маргинальная роль «не-мужчины», «не-участника», «не-чеченки» постепенно стала работать на формирование специфического доверия. Я не была частью их внутреннего мира воинской, национальной и религиозной солидарности, не могла претендовать на авторитетное понимание их опыта — и это парадоксальным образом стимулировало нарратив. Со мной можно было говорить не как с судьей или оппонентом, а как с заинтересованным фиксатором истории, которую, возможно, стоит сохранить, но сохранять страшно. Как метко обозначил один из респондентов, такая динамика строилась на восприятии меня как не-угрозы: «...Ты сама провоцируешь с тобой разговаривать как с корешем».

Доверие в этой системе координат не завоевывалось, а выращивалось постепенно [Горюшина, 2019: 99]. Работа привела к формированию почти дружеских связей с целыми семьями. Меня приглашали в гости, и я принимала эти приглашения, проживая несколько дней в домах респондентов, что давало уникальный доступ к повседневному контексту. Наиболее показательны два исключительных случая. В 2020 году одна семья разрешила мне провести месяц Рамадан в их доме, присутствовать почти на всех ифтах.

Другая семья меня пригласила уже не только как исследователя, но и как специалиста для каталогизации семейного архива — фотографий и вещей, сохранившихся со времен депортации 1944 года. Эти ситуации стали высшей формой признания, прорывом из плоскости «интервьюер — информант» в плоскость человеческих отношений.

Таким образом, гендерная и этническая позиция «аутсайдера» оказалась уникальным инструментом переговорного процесса. Она требовала постоянной работы по легитимации, но, будучи правильно выстроенной, позволяла занять особую нишу — не «своей», но и не «чужой» в классическом смысле, а признанного и уважаемого стороннего наблюдателя. Этот опыт показывает, что в чувствительных полях успех зависит не от стирания собственной идентичности, а от умения сделать ее предметом осознанной рефлексии и инструментом выстраивания ситуативных форм доверия.

Заключение

Исследование памяти о чеченских кампаниях в постконфликтной фазе подтверждает, что подобное поле является чувствительным в полном смысле слова. Его чувствительность имеет три источника: политической секьюритизации прошлого, остающегося инструментом легитимности и контроля; глубины незаживших личных и коллективных травм; и, наконец, того, что сам акт исследования создает потенциальные риски как для информантов, так и для интервьюера. В таких условиях классические методы устной истории, направленные на реконструкцию событий, уступают место методологии, фокусирующейся на анализе условий производства нарративов.

Принятая в данной работе концептуальная рамка, рассматривающая травму не как событие, а как нарративный сбой, а чувствительность — как многомерное поле напряжений, позволила перейти от вопроса, *что* случилось, к вопросу, *как* об этом возможно говорить.

Основные выводы могут быть сведены к нескольким ключевым тезисам.

Во-первых, поле активно структурирует исследовательский корпус, навязывая жесткую селективность. Доминирование мужских, чеченских, мусульманских нарративов — не просчет выборки, а прямое следствие того, как политические и культурные табу делают иные опыты (женские, нечеченские, светские) практически невидимыми.

Во-вторых, коммуникация в поле регулируется комплексными защитными механизмами, центральный из которых — принцип осмотрительности. Он проявляется в риторических щитах, категоричных утверждениях и специфическом религиозном щите, переводящем травму в сакральную плоскость. Вера становится формой сопротивления внешним моделям психологической реабилитации и языку индивидуальной уязвимости.

В-третьих, чувствительность поля материализуется в пространстве. Мемориальный ландшафт кладбищ выступает как немой, но красноречивый текст, в котором фиксируются те же процессы ассимиляции, умолчания



и перекодирования памяти, что и в устных нарративах. Уход за чужими могилами по своим канонам — акт не только этики соседства, но и молчаливого редактирования коллективного прошлого.

В-четвертых, позиция исследователя в таком поле, особенно маркированная гендерно и этнически как позиция «аутсайдера», требует постоянной рефлексивной работы и тактической адаптации. Культурная мимикрия и соблюдение локальных норм не гарантируют, но создают возможность для выстраивания ситуативного доверия, которое может стать основой для доступа к наиболее глубоким пластам памяти.

Работа в сенситивном поле Чечни демонстрирует, что главным объектом анализа становятся не факты, а сами ограничительные рамки говорения: лакуны, умолчания, цензура, защитные риторические стратегии [Portelli, 2016: 51]. Эти умолчания и обходные маневры — наиболее достоверные источники для понимания того, как травматическое прошлое продолжает жить в настоящем, как оно управляется и как ему сопротивляются на уровне индивидуальных биографий и коллективной культуры. Исследователь в таком поле превращается не в собирателя свидетельств, а в интерпретатора сложной системы сигналов и пропусков, где умение прочесть отсутствующее и есть ключ к пониманию работы памяти в условиях несвободы.

Литература / References

Горюшина Е. М. Интервью с очевидцами постсоветских конфликтов на Юге России: специфика проведения и возможности использования как источников // Русский архив. 2019. Т. 7. № 2. С. 95–103. EDN: RYTLKC DOI: <https://doi.org/10.13187/ra.2019.2.95>

Goryushina E. M. (2019) Interviews with Eyewitnesses to the Post-Soviet Conflicts in the South of Russia: Specifics of Interviewing and Opportunities as Historical Sources. *Russkiy arkhiv* [Russian Archive]. Vol. 7. No. 2. P. 95–103. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.13187/ra.2019.2.95>

Горюшина Е. М. Рядовой бесславной войны: интервью с участником зимнего штурма Грозного 1994 г. // Новое прошлое. 2019. № 1. С. 238–268. EDN: MRVOLD DOI: <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2019-1-238-268>

Goryushina E. M. (2019) A Private of the Inglorious War: An Interview with a Participant in the Winter Assault of the Grozny in 1994. *Novoe proshloe* [The New Past]. No. 1. P. 238–268. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2019-1-238-268>

Горюшина Е. М., Алхастова З. М. Внутри мемориальной культуры Чеченской Республики: от настоящего к воссоздаваемому прошлому // Tempus et Memoria. 2023. Т. 4. № 2. С. 42–49. DOI: <https://doi.org/10.15826/tetm.2023.2.050>

Goryushina E. M., Alkhastova Z. M. (2023) Inside the Memorial Culture of the Chechen Republic: From the Present to a Recreated Past. *Tempus et Memoria*. Vol. 4. No. 2. P. 42–49. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.15826/tetm.2023.2.050>

Осмаев А. Д., Горюшина Е. М. Институционализация коллективной памяти тайпов/братств в постконфликтной Чеченской Республике // История, археология и этнография Кавказа. 2023. Т. 19. № 4. С. 1110–1123. DOI: <https://doi.org/10.32653/CH19411110-1123>

Osmaev A. D., Goryushina E. M. (2023) Institutionalization of the Collective Memory of Taips/Fraternities in the Post-Conflict Chechen Republic. *Istoriya, arkhologiya i etnografiya Kavkaza* [History, Archeology and Ethnography of the Caucasus]. Vol. 19. No. 4. P. 1110–1123. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.32653/CH19411110-1123>

Douglass A., Vogler T. A. (eds.). (2003) *Witness and Memory: The Discourse of Trauma*. London; New York: Routledge.

Fujii L. A. (2018) *Interviewing in Social Science Research: A Relational Approach*. London; New York: Routledge.

Fujii L. A. (2010) Shades of Truth and Lies: Interpreting Testimonies of War and Violence. *Journal of Peace Research*. Vol. 47. No. 2. P. 231–241.

Kvale S., Brinkmann S. (2009) *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE.

Lee R. M. (1993) *Doing Research on Sensitive Topics*. London: SAGE.

Mälksoo M. (2015) Memory Must Be Defended: Beyond the Politics of Mnemonical Security. *Security Dialogue*. Vol. 46. No. 3. P. 221–237. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010614552549>

Portelli A. (2016) What Makes Oral History Different. In: Perks R., Thomson A. (eds.) *The Oral History Reader*. London; New York: Routledge. P. 48–58.

Thompson P., Bornat J. (2017) *The Voice of the Past: Oral History*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

Wood E. J. (2006) The Ethical Challenges of Field Research in Conflict Zones. *Qualitative Sociology*. Vol. 29. No. 3. P. 373–386.

Сведения об авторе:

Горюшина Евгения Михайловна — кандидат политических наук, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; руководитель сектора кавказских исследований, Институт Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия. **E-mail:** egoryushina@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** [645383](https://elibrary.ru/author/id645383); **ORCID ID:** [0000-0003-1800-9890](https://orcid.org/0000-0003-1800-9890); **ResearcherID:** [J-4052-2018](https://www.researcherid.com/rid/J-4052-2018).

Статья поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.4

.....

“How Do You Name It?": Sensitivity, Resistance, and Reflexivity in the Field of Post-Conflict Memory in Chechnya

DOI: [10.19181/inter.2026.18.1.3](https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3)

Evgeniya M. Goryushina

*HSE University; Institute of China and Contemporary Asia of the RAS, Moscow, Russia
E-mail: egoryushina@hse.ru*

This article draws on many years of fieldwork experience in Chechnya and addresses the methodological and ethical challenges of researching the memory of armed conflicts under conditions of its total securitization. Analyzing the practice of collecting a corpus of more than 150



semi-structured interviews with former combatants and witnesses of the events of 1994–2009, the author examines the specificity of the Chechen field as a “sensitive” one in a threefold dimension: as a zone of political taboos, where public speech about the past is strictly regulated; as a space of unspoken trauma, protected by complex cultural mechanisms; and as an environment where the figure of the researcher itself becomes a source of potential risk for informants, necessitating special safety protocols and ethical reflection.

Attention is focused on interview strategies under conditions of the constant probing of the boundaries of the permissible, the key marker of which is the filter question “How do you call it?” that determines the very possibility of conversation. The analysis covers the negotiation practices of choosing neutral lexicon, the mechanisms of internal censorship and self-censorship, and the problem of archiving “inconvenient” narratives in a situation where their publication could be unsafe for respondents. Special attention is paid to reflecting on the position of a female researcher in a field dominated by male narratives of war, and to how the gendered and ethnic markedness of the “outsider” can, paradoxically, become a resource for building trust.

The central thesis asserts the necessity of a methodological shift: from attempts to record “facts” towards an analysis of the very conditions of the production of oral history, where silences, pauses, lacunae, and defensive speech strategies rooted in a confessional vision of lived experience become key sources for understanding the workings of memory in a post-conflict society. This approach allows us to see the constraints imposed by the sensitive field not as an obstacle, but as valuable material for analyzing how the traumatic past continues to live in the present, interpreted through the prism of religious tradition and collective notions of fate and fortitude.

Keywords: sensitive field; war memory; post-conflict memory; oral history; semi-structured interview; securitization of memory; research ethics; reflexivity

Author Bio:

Evgeniya M. Goryushina — Candidate of Politics, Researcher, Research Fellow, Centre for Comprehensive European and International Studies, Deputy Director, Centre for Strategic Studies, Institute of World Military Economy and Strategy, HSE University; Head of Caucasian Researches Sector, Institute of China and Contemporary Asia of the RAS, Moscow, Russia. **E-mail:** egoryushina@hse.ru. **RSCI AuthorID:** 645383; **ORCID ID:** 0000-0003-1800-9890; **ResearcherID:** J-4052-2018.

Received: 13.02.2026

Accepted: 18.03.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.4

EDN: AVPROY

Когда интервью становится «почти терапией»: границы роли исследователя в разговорах о войне и вынужденном переселении

Ссылка для цитирования:

Муха В. Н. Когда интервью становится «почти терапией»: границы роли исследователя в разговорах о войне и вынужденном переселении // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 74–93. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.4> EDN: AVPROY

For citation:

Mukha V. N. (2026) When the Interview Becomes “Almost Therapy”: Researcher’s Role Boundaries in Conversations about War and Forced Displacement. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 74–93. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.4>



Муха Виктория Николаевна

Кубанский государственный
технологический университет,
Краснодар, Россия

E-mail: v.mukha@bk.ru

Статья посвящена профессиональным и этическим рискам, возникающим в глубинных интервью с людьми, пережившими войну и вынужденное переселение. На материале интервью с беженцами из Украины (волны 2014 и 2022 годов) анализируется ситуация, когда исследователь в глазах информантов оказывается не только «собирателем данных», но и фигурой потенциальной помощи — слушателем, «психологом», посредником, способным снять напряжение и придать смысл травматическому опыту. Показано, как вводимый автором концепт «терапевтического ожидания» реализуется в ходе интервью: через просьбы о советах и оценках, проверку границ допустимого, попытки перевести разговор из режима свидетельства в режим эмоциональной поддержки. Такие моменты взаимодействия создают риск ретравматизации участников, а также размывания исследовательской роли и вторичной травматизации самого исследователя. В статье предлагается типология ситуаций, в которых интервью начинает смещаться к «квази-терапевтическому» взаимодействию, и описываются практики удержания



границ: согласование рамки разговора, право на паузу и прекращение темы, нейтральные формы эмпатического отклика, дебрифинг после интервью и рефлексивная фиксация. Сделан вывод, что признание эмоциональной включенности исследователя может быть превращено в методологический ресурс без подмены профессиональных ролей.

Ключевые слова: глубинное интервью; вынужденная миграция; травматический опыт; этика исследования; границы роли исследователя; вторичная травматизация; рефлексивность; дебрифинг

Введение

Интервью с людьми, пережившими войну и вынужденное переселение, относятся к числу наиболее сенситивных исследовательских практик. Сенситивность здесь задается не только тематикой (насилие, утраты, разрыв повседневности), но и самой ситуацией разговора: интервью становится местом, где пережитый опыт может повторно актуализироваться, а информант начинает искать не только возможности рассказать, но и признания, опоры, подтверждения своей позиции. В этих условиях исследователь сталкивается с двойной задачей: с одной стороны, получить аналитически значимые данные о траекториях переживания и адаптации; с другой — минимизировать риски для участников и исследователя через поддержание этических и ролевых границ.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть, как в разговорах о травматическом опыте формируется особый тип ожиданий по отношению к исследователю: информанты обращаются к нему не только как к «собирателю рассказов», но и как к фигуре поддержки, совета либо посредничества. Чтобы аналитически зафиксировать этот механизм, мы предлагаем использовать термин «терапевтическое ожидание», но не в клиническом смысле терапии, а как ожидание психологической опоры, эмоционального «контейнирования» или действия.

Под «терапевтическим ожиданием» нами понимается интеракционное смещение рамки интервью, при котором исследователь начинает восприниматься как потенциальный «помогающий». Понятие используется как аналитическая категория, выведенная из повторяющихся эпизодов интервью и операционализированная через наблюдаемые признаки: (1) прямые или косвенные обращения, переводящие интервьюера в позицию «помогающего» («что мне делать?», «как бы вы поступили?», «вы же меня понимаете?», «обязательно донесите/напишите»); (2) эмоционально-моральный пик в рассказе, после которого обращение к интервьюеру становится способом продолжить или удержать нарративный импульс; (3) зависимость дальнейшего хода разговора от реакции интервьюера (поддержит ли он, даст ли оценку, пообещает ли действие).

Такое понимание согласуется с логикой свидетельствования [Felman, Laub, 1992: 57–73], согласно которой рассказ о травматическом опыте формируется

во взаимодействии со слушающим; с концепцией эмоционального труда [Hochschild, 1983: 7–8, 137–162], трактующей профессиональные взаимодействия как требующие управления чувствами и их выражением в соответствии с «правилами чувств» роли; а также с подходом социального страдания [Kleinman, Das, Lock, 1997: 1–23], определяющим переживание и его последствия как социально опосредованный процесс.

Цель статьи — показать, как «терапевтическое ожидание» производится в сенситивных интервью о войне и вынужденной миграции, какие риски оно создает и какие практики позволяют удерживать рамку исследования, не отказываясь от эмпатии. Мы проанализируем, каким образом в интервью участники переводят исследователя в позицию «помогающего» и какие процедуры помогают снизить риск ретравматизации и размывания исследовательской роли.

Интервью как эмоциональный труд: моральная организация разговора и феномен «терапевтического ожидания»

Концептуальную рамку работы образуют несколько исследовательских подходов, связанных общим фокусом на взаимодействии между рассказчиком и слушателем в условиях травматического опыта.

Травматическое событие становится социально значимым не в момент свершения, а в акте свидетельствования, который всегда диалогичен. Слушающий не нейтральный регистратор, а соучастник производства свидетельства: его присутствие делает рассказ возможным, а его эмоциональная включенность — неотъемлемая часть события. Свидетельство — это не только «высказывание» травмированного субъекта, но и событие слушания, в котором слушающий занимает не внешнюю позицию «фиксирующего», а включен в саму возможность рассказа. Фельман и Лауб подчеркивают, что свидетельствование включает своего адресата: слушатель оказывается одновременно и «участником», и «свидетелем» (co-witness) травматического события в той мере, в какой именно через присутствие и работу слушания опыт становится «узнаваемым» и нарративно оформляемым [Felman, Laub, 1992: 57–73]. Развивая эти тезисы, можно сказать, что:

1) в интервью необходимо учитывать не только то, что рассказывается, но и как рассказ «становится возможным» (паузы, сбои, молчание, поиски слов, просьбы подтвердить понимание);

2) действия интервьюера (уточнения, подтверждения, смена темпа, допуск молчания) выступают не вспомогательным «шумом», а структурным элементом свидетельствования;

3) уязвимым оказывается сам режим слушания, требующий от интервьюера навыка удерживать границу между поддержкой и вторжением, между знанием и «не-слишком-знанием», между вопросом и давлением.



Моральная организация разговора. Микросоциология И. Гоффмана переводит внимание с «сообщаемой информации» на порядок взаимодействия и моральные обязательства участников [Goffman, 2017]. В интервью рассказчик действует в условиях потенциальной оценочности: он рискует быть прочитан как виновный, слабый, «неправильный», «не заслуживающий» сочувствия или помощи. Поэтому значительная часть реплик адресована поддержанию «лица» — позитивной социальной ценности, которую человек предьявляет в ситуации общения. В этой перспективе обращения к интервьюеру вида «Вы же понимаете?», «Как бы вы поступили?», «Это не было предательством?» можно трактовать как элементы работы по «сохранению лица» (face-work) — ритуальной практики, предотвращающей осуждение и восстанавливающей символический порядок, нарушенный биографическим разрывом.

Для точной интерпретации таких ходов полезно привлечение теории «оправдательных объяснений» (accounts), то есть адресованных другим речевых объяснений проблемного или неожиданного действия, которые нейтрализуют потенциальное моральное обвинение и «сшивают» разрыв между ожиданиями и действиями. Так в классической типологии различаются оправдания (justifications) и отговорки / снятие ответственности (excuses) [Scott, Lyman, 1968; Orbuch, 1997].

Эти интеракционные ходы в интервью переплетаются и могут выполнять разные функции в зависимости от того, кому именно адресуется рассказ и какую роль в этот момент играет интервьюер. Поиск рассказчиком признания и моральной легитимации необходим рассказчику, чтобы подтвердить приемлемость собственных переживаний и решений в ситуации потенциальной оценочности аудитории. Соответственно, работа по сохранению лица поддерживает социальную ценность участника и предотвращение осуждения. «Терапевтическое ожидание» обозначает иной аналитический срез: не только стремление быть понятым или оправданным, но и адресованное интервьюеру ожидание поддерживающего вмешательства, то есть изменения его роли на «помогающего» (эмоциональная опора, совет или оценка, посредничество). Иначе говоря, моральная работа может происходить без терапевтического ожидания, тогда как последнее фиксируется там, где к моральной уязвимости рассказчика добавляется обращение к интервьюеру как к ресурсу поддержки или действия.

Таким образом, прохождение интервью становится морально нагруженной ситуацией, где рассказчик не просто вспоминает, но и пересобирает свою социальную приемлемость (в том числе через апелляции к нормам, вынужденности тех или иных действий, обязательности проявления заботы, лояльности и т.п.), а интервьюер невольно становится «моральной аудиторией», от реакции которой зависит траектория рассказа.

Эмоциональный труд и цена профессионального присутствия. Концепция эмоционального труда А. Хохшильд позволяет рассматривать эмоциональную вовлеченность интервьюера не как частную «психологическую слабость», а как социально организованную и нормативно регулируемую практику. Хохшильд различает эмоциональный труд (emotional labor), то есть управление

чувствами, как часть оплачиваемой работы в коммерческом контексте (например, в сфере услуг) и эмоциональную работу (emotion work) как регулирование эмоций в межличностных взаимодействиях вне рынка [Hochschild, 1983]. В обоих случаях речь идет о сознательной индукции, или подавлении чувств, ради поддержания социально ожидаемой внешней экспрессии. Длительное выполнение такой работы может вести к эмоциональному отчуждению, ослаблению связи с собственными переживаниями.

Применительно к полевому интервью о травме исследователь выполняет в первую очередь именно эмоциональную работу: демонстрирует сочувствие, регулирует выражение шока, гнева или бессилия, выдерживает паузы, удерживает границу между эмпатией и профессиональной дистанцией. Методологические исследования подчеркивают, что эмоции исследователя не являются «шумом», а входят в ткань взаимодействия и потому должны учитываться как часть рефлексивного анализа данных [Kleinman, Copp, 1993; Blix, Wettergren, 2015]. Параллельно возможно накопление вторичных эффектов: от эмоционального истощения до вторичного травматического стресса [Figley, 1995] и викарной травматизации [Pearlman, Saakvitne, 1995], феноменов, связанных с длительным эмпатическим контактом с травматическим материалом.

Наконец, в исследованиях сенситивных тем риск для исследователя все чаще рассматривается как самостоятельная этическая и организационная задача: требуются подготовка, супервизия, процедуры безопасности и практики «профессиональной гигиены», позволяющие поддерживать границы и снижать вероятность вторичных последствий [Dickson-Swift et al., 2008]. Это дает основания включать в анализ не только «эмоции информанта», но и механизмы распределения эмоциональной нагрузки в интервью: кто поддерживает кого, как регулируются границы эмпатии, в каких точках возникает эмоциональное насыщение и как участники совместно управляют им в ходе взаимодействия [Kleinman, Copp, 1993; Dickson-Swift et al., 2008].

Социальное страдание как распределенный ущерб. Антропологическая рамка социального страдания [Kleinman, Das, Lock, 1997] проблематизирует индивидуализирующую оптику психологической травмы: человеческие последствия войны, перемещения и насилия понимаются как комплекс, который затрагивает тела, отношения, институты и режимы смысла.

Антропологическая перспектива «социального страдания» позволяет описывать последствия войны и вынужденного перемещения не как сумму индивидуальных «психологических травм», а как распределенный процесс, который проходит через тело, семейные отношения, институты помощи и публичные режимы смысла [Kleinman, Das, Lock, 1997]. Интервью рассматривается не только как «сообщение о пережитом», но как место, где опыт получает социально распознаваемую форму — в языке, категориях и ожиданиях, доступных участникам.

Институциональные ответы на страдание амбивалентны: они одновременно обещают поддержку и требуют правильной формы предъявления боли (доказуемости, соответствия критериям, статусным процедурам), что способно непреднамеренно усилить уязвимость [Kleinman, 1997]. В интервью это делает аналитически видимыми моменты, когда рассказчик воспроизводит или,



наоборот, оспаривает институциональные логики (цитирует формулировки, пересказывает взаимодействия с ведомствами, выстраивает «правильный» нарратив легитимности).

Понятие «критические события» у В. Дас помогает удерживать еще один фокус: катастрофа не «заканчивается» в прошлом, а продолжает действовать через повседневность: через язык, молчание, рутинные решения и телесные привычки [Das, 2007]. Поэтому в интервью значимы не только драматические эпизоды воспоминаний, но и «обычные» фрагменты, где событие проявляется косвенно — в паузах, оговорках, в измененных практиках заботы, в новых правилах общения и самоограничениях. Это означает, что травматический рассказ следует анализировать не только как личную историю, но и как узел, в котором пересекаются индивидуальная биография, институциональные требования (статусы, документы, доступ к помощи), моральные ожидания аудитории и публичные дискурсы о «жертвах», «виновных», «достойных/недостойных» сочувствия.

В совокупности выбранные подходы задают понимание травматического рассказа как социально производимого: свидетельство возникает и приобретает значимость в событии адресованного говорения и слушания; его форма зависит от взаимодействия с аудиторией и от правил моральной приемлемости, действующих в интервью. Одновременно интервью является пространством эмоциональной работы, где управляются границы эмпатии и профессиональной дистанции, а цена присутствия распределяется между участниками. Наконец, травматический опыт рассматривается как проявление социального страдания: последствия войны и вынужденного перемещения не исчерпываются индивидуальной психикой, а циркулируют через семейные отношения, институции и публичные режимы признания. В этой логике этика оказывается не внешней «надстройкой», а частью методологии: она фиксирует условия, при которых совместное производство свидетельства возможно без усиления уязвимости участников и без утраты исследовательской ответственности.

Методология и методы

Эмпирическую основу статьи составляет корпус из 65 глубинных интервью с вынужденными мигрантами из Украины, собранных в 2019–2025 годах на территории Краснодарского края. Интервью проводились как в крупных городах региона (Краснодаре, Сочи, Анапе, Ейске — 50 интервью), так и в сельской местности — в станицах и селах (15 интервью). Выборка преимущественно женская: 47 информантов — женщины и 18 — мужчины. Мужчины представлены главным образом двумя возрастными группами: молодыми взрослыми (18–20 лет) и информантами старших возрастов (60+). Женщины, напротив, представлены более широким возрастным диапазоном: от молодых участниц до информанток среднего и пожилого возраста.

Интервью проводились по полуструктурированному гайду, фокус делался на опыте вынужденного перемещения и на том, как участники рассказывают

о войне и ее последствиях в диалоге с интервьюером. Формат был смешанным: интервью проводились как очно, так и онлайн, выбор определялся логистикой и предпочтениями участников. Средняя продолжительность интервью составляла 90 минут. Рекрутирование осуществлялось через НКО, волонтерские сети и сообщества мигрантов; использовался целенаправленный отбор с элементами «снежного кома». Критериями включения были: (1) опыт вынужденного перемещения из Украины вследствие конфликтов 2014 или 2022 года; (2) возраст 18+; (3) готовность дать информированное согласие и обсуждать опыт в формате исследовательского интервью.

Этика исследования. В логике интервью как «ремесла» (*craft*) этические решения рассматриваются как часть профессиональной компетентности и рефлексивной ответственности исследователя [Brinkmann, Kvale, 2015]. В качестве нормативной рамки использованы принципы автономии, благодеяния и справедливости, примененные к качественному дизайну через критерии оценки процедур согласия, права на отказ и поддержки после интервью [Orb, Eisenhauer, Wynaden, 2001]. Практически это реализовывалось через краткий протокол минимизации вреда: перед началом интервью проговаривались добровольность участия, право не отвечать на любой вопрос и возможность остановить разговор в любой момент; уточнялась рамка роли (интервью не является психологической консультацией и не предполагает терапевтических рекомендаций). В ходе интервью применялись ситуативные «стоп-сигналы» (пауза, предложение воды/тишины, смена темы) при признаках перегрузки; после завершения проводился короткий дебрифинг и делались рефлексивные заметки о «точках эмоционального пика» и принятых решениях (пауза / остановка / смена темы). Важно, что описанный протокол представлен в статье в обобщенном виде: минимальные правила задавались заранее, тогда как часть микропрактик была эксплицирована постфактум при анализе повторяющихся эпизодов взаимодействия как типичные способы удержания рамки интервью.

В нашем исследовании дизайн не предполагал систематического долгосрочного отслеживания состояния участников после интервью; этические процедуры были сосредоточены на моменте проведения и завершения разговора. После интервью проводился короткий дебрифинг: участнику предлагалось оценить свое самочувствие, задать вопросы о целях исследования и, при необходимости, завершить беседу на менее эмоционально напряженной теме. Также оговаривалась возможность связаться с исследователем позднее для уточнения условий анонимности или использования материалов. В некоторых случаях контакт продолжался по инициативе участников (например, для уточнений или добавления деталей), а иногда сохранялся и после интервью в связи с вовлеченностью исследователя в волонтерские практики поддержки переселенцев. В таких случаях взаимодействие выходило за рамки исследовательской коммуникации и приобретало характер практической помощи. Эти контакты не рассматривались как часть исследовательских данных и не включались в анализ. Как правило, участники принимали обозначение границ: интервьюер не выступает в роли психолога и не дает рекомендаций. В случаях, когда информант прямо просил совета или поддержки, границы



проговаривались кратко и нейтрально, после чего вопросы перестраивались на описание опыта и действий. Это позволяло сохранить рабочий контакт и удержать интервью в исследовательской рамке.

Аналитическая стратегия и единица анализа. Помимо аудиозаписей и транскриптов, в анализ включались полевые заметки и рефлексивный дневник исследователя, фиксировавшие контекст интервью, динамику взаимодействия и решения по удержанию рамки разговора. Выполнялся тематический анализ корпуса текстов. На первом этапе выделялись фрагменты, в которых участник прямо или косвенно адресовал интервьюеру ожидания поддержки (подтверждения / совета / посредничества), то, что в статье концептуализируется как «терапевтическое ожидание»).

Единицей анализа выступал эпизод смещения интервью в квазитерапевтический режим: (а) эмоциональный пик / моральная дилемма в рассказе, (б) обращение к исследователю с ожиданием поддержки / оценки / действия, (в) реакция исследователя и последствия для хода разговора. На втором этапе эти фрагменты кодировались и группировались в повторяющиеся интеракционные паттерны; данные транскриптов сопоставлялись с полевыми заметками и рефлексивным дневником, что позволяло фиксировать не только содержание, но и динамику взаимодействия и решения исследователя.

Роль исследователя. Полевая работа и формирование корпуса интервью происходили в ходе реализации двух исследовательских проектов, посвященных проблемам адаптации вынужденных мигрантов из Юго-Востока Украины¹ и изучению социально-психологического самочувствия населения в условиях социальных кризисов². В рамках этих проектов был собран значительный массив интервью с переселенцами, который стал эмпирической основой данной статьи. Позиция исследователя в поле носила двойственный характер. С одной стороны, исследователь выступал в роли интервьюера и аналитика, собирающего и интерпретирующего нарративы о вынужденном перемещении и опыте войны. С другой стороны, исследователь был вовлечен в практики поддержки переселенцев как волонтер, взаимодействуя с организациями гражданской помощи. Этот опыт способствовал формированию более доверительных отношений с информантами, но одновременно требовал постоянной рефлексии границ исследовательской роли и внимательного контроля за тем, чтобы интервью сохраняло исследовательскую рамку. Работа в поле позволила увидеть не только индивидуальные переживания вынужденного перемещения, но и более широкий институциональный контекст: взаимодействие переселенцев с волонтерскими инициативами, фондами помощи и государственными структурами. Обсуждение материалов исследования происходило как в научной среде, так и в практических форматах взаимодействия с организациями, работающими с переселенцами. При этом

¹ РФФИ, грант № 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае» (2019 г.)

² «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ: «Ценности и межкультурные отношения в контексте транзитивного общества: кросс-региональный анализ» (2020–2022 гг.) и «Социально-психологические факторы психологического благополучия: кросс-региональный анализ» (2023–2025 гг.).

подробности об индивидуальных случаях не передавались внешним участникам, а результаты использовались в обобщенном виде — для подготовки исследовательских публикаций, аналитических материалов и обсуждения проблем адаптации переселенцев в экспертной среде.

Примененный дизайн не предполагает статистической репрезентативности, кроме того, данные собирались в разные годы, что усиливает контекстную неоднородность. Роль исследователя как интервьюера и аналитика повышает чувствительность к эпизодам взаимодействия, но делает интерпретацию зависимой от позиции автора, для снижения этого эффекта использовались триангуляция источников (транскрипты, заметки, дневник) и обсуждение кодов с коллегами.

Результаты: три ключевых темы травматической траектории и условия возникновения «терапевтического ожидания»

Наши эмпирические данные включают интервью с людьми, пережившими вынужденное перемещение в существенно различающихся исторических контекстах — это волны 2014 и 2022 годов. Это накладывает отпечаток на систему ожиданий, с которыми информанты приходят к разговору. Участники, покинувшие свои дома в 2014 году, чаще описывают опыт, реализованный в условиях менее институционализированной поддержки и неоднозначного общественного восприятия, когда получение помощи было сопряжено с необходимостью дополнительных усилий и подтверждения своего статуса нуждающегося. В интервью данной группы это проявляется в усиленных запросах на навигацию, разъяснение процедур и подтверждение легитимности притязаний. Для информантов волны 2022 года, напротив, характерны упоминания о более развитой гуманитарной и волонтерской инфраструктуре, а также о высокой публичной видимости военных действий, что снижает потребность «отстаивать» свой статус, но может актуализировать ожидания эмоциональной поддержки и совместного осмысления травматичного опыта.

Позиции информантов внутри корпуса также дифференцированы по степени адаптации и институциональной уязвимости. Ключевыми переменными здесь выступают стабильность занятости и жилья, наличие социальных сетей, опыт взаимодействия с официальными ведомствами и длительность проживания на новом месте. Эти различия проявляются в доминирующих интенциях нарратива. Для более уязвимых и менее адаптированных информантов на первый план выходят «навигационные» и защитные запросы, связанные с оформлением документов, поиском инстанций и стремлением доказать правомерность своего положения «невиновного» в глазах потенциально недоверчивой аудитории. В группе более адаптированных и ресурсных участников фокус смещается в сторону осмысления пережитого, моральных аспектов биографического разрыва и выработки стратегий жизни в новых условиях. При этом важно подчеркнуть, что статья не ставит своей целью систематическое сравнение волн миграции или формальных статусов. Отмеченные различия



рассматриваются как контекстуальные тенденции внутри единого корпуса данных. Основной аналитический фокус работы сосредоточен на выявлении общего механизма, который воспроизводится в обоих контекстах и во всех группах, — механизма формирования «терапевтического ожидания». В определенных моменты интервью, независимо от фона и ресурсов, участники склонны смещать коммуникативную роль интервьюера в сторону фигуры поддержки, совета или посредничества. Различаются лишь социальный фон и акцент этих ожиданий (от навигационных до экзистенциальных), но не сам принцип их возникновения в динамике исследовательского взаимодействия.

В интервью устойчиво выделяются три ключевых темы, каждая из которых задает специфические формы уязвимости и ожиданий.

Первая тема связана с непосредственным переживанием войны (бомбежки, укрытия, страх за близких): здесь интервью часто приобретает характер свидетельствования, при детализации возрастает риск ретравматизации.

Вторая тема — бегство/эвакуация как биографический разрыв (ночные переходы, спешка, разлучение семей): усиливаются моральное измерение и потребность оправдать выбор.

Третья тема — постмиграционная уязвимость (потеря статуса, жилья и профессиональной идентичности, жизнь «с нуля», стигматизация), именно здесь ожидание от исследователя чаще смещается к запросу помощи и поиску решения.

Далее представлены четыре виньетки, показывающие разные формы «терапевтического ожидания» и соответствующие им риски и техники удержания рамки интервью. Под виньетками понимаются аналитические мини-кейсы, реконструирующие типичные эпизоды взаимодействия на основе нескольких сходных фрагментов интервью. Они не являются дословным воспроизведением одного конкретного разговора, а представляют обобщенную ситуацию, собранную из повторяющихся эпизодов корпуса. При конструировании виньеток сохраняются характерные реплики участников, динамика взаимодействия и ключевые элементы контекста, тогда как потенциально идентифицирующие детали (имена, точная география, последовательность событий) могут быть изменены или опущены без потери аналитического смысла. Такой формат позволяет показать микродинамику интервью и одновременно снизить риск идентификации информантов. Таким образом, виньетки используются не как иллюстрации отдельных историй, а как аналитические реконструкции повторяющихся интеракционных паттернов.

Виньетка 1. «Вы же меня понимаете?»: запрос на подтверждение и моральная уязвимость

Молодая женщина описывает ночной переход границы с маленьким ребенком и пожилой родственницей на фоне угрозы обстрелов. Рассказ разворачивается рывками: фрагменты событий перемежаются паузами, слезами и самоисправлениями. Важным узлом нарратива становится необходимость

морального оправдания принятого решения: информантка несколько раз возвращается к тому, что «оставила мужа», «оставила родителей», и при каждом возвращении как будто заново проверяет допустимость своего выбора у адресата. Повторяющийся вопрос «Понимаете? Вы же меня понимаете?» здесь работает не как уточнение фактов, а как просьба о признании: участница переводит интервью из режима «сообщения опыта» в режим моральной легитимации, где от исследователя ожидается подтверждение «нормальности» переживаний и приемлемости решения в условиях угрозы.

«Я... я просто не могла иначе (пауза). Понимаете? Вы же меня понимаете?.. Это ведь не предательство — уехать?.. Я оставила родителей... (слезы) Они сказали: "Езжай". Но все равно... как будто я их бросила... Понимаете? Бросила...» (Инф. 1, переселение в 2022 г., женщина, 31 год, дата интервью 14.06.2023).

Сходные микродинамические паттерны (возвращение к моменту выбора, его повторное проговаривание и запрос о подтверждении правомерности решения) фиксируются и в других интервью. Например, когда информанты сначала описывают оценивающую позицию родственников или «окружения», а затем транслируют потребность в оправдании на интервьюера.

«Сестра мне постоянно выговаривала потом: "Как ты смогла уехать? Ты что, их бросила? (бабушку и мать. — Примеч. авт.)". Я ей: "Слушай, у нас ребенок, я не могла рисковать". Она все равно: "Ну вот так и скажи — избавилась" (пауза). И я после этого как будто... оправдываюсь все время. Скажите... это же не значит, что я плохая? Я просто выбрала безопасность... (плачет)» (Инф. 2, переселение в 2022 г., женщина, 27 лет, дата интервью 21.08.2023).

«Мне тут говорили: "Прибежала", "сбежала", — как будто я виновата, что уехала. А у нас ночью бахнуло так, что я на полу оказалась, — не поняла даже, дети кричат, стекла посыпались. Я собрала самое нужное, одела детей и в дорогу. Без планов, без ничего (вздыхает). И потом уже слушаешь это — "сама прибежала"... Скажите, я правда должна была оставаться? Или это нормально — спасти детей?» (Инф. 3, переселение в 2014 г., женщина, 38 лет, дата интервью 14.04.2019).

Такие эпизоды создают несколько взаимосвязанных рисков.

Во-первых, интервьюер легко оказывается втянут в позицию морального арбитра: даже нейтральная реплика может быть прочитана как оценка («правильно — неправильно», «должна была — не должна была»).

Во-вторых, при недостаточно поддерживающей реакции возрастает вероятность усиления вины и стыда: повторяющийся запрос на «понимание» делает уязвимость видимой, и отсутствие отклика может восприниматься как отказ в признании.



В-третьих, при чрезмерно поддерживающем отклике (успокоение, советы, «все будет хорошо») интервью смещается в квазитерапевтический режим, из-за чего исследовательская рамка размывается, а дальнейший рассказ начинает зависеть от того, «правильно» ли интервьюер продолжает поддерживать. Наконец, эмоциональная интенсивность эпизода повышает риск перегрузки обеих сторон: информантке может стать сложнее удерживать повествование, а интервьюеру — сохранять границы роли и темп разговора.

Как удержать эмпатию и рамку исследования?

В этой ситуации применялась стратегия минимально вмешивающегося эмпатического подтверждения без оценивания решения и без перехода к советам. Она включала три шага.

1. Короткое подтверждение слышания и признание эмоции (не оценки поступка): невербальный кивок, спокойная пауза, нейтральные формулы типа «я вас слышу», «это было очень тяжело», «понятно, почему вам сейчас трудно это рассказывать». Это дает информантке «минимум» признания, необходимый, чтобы продолжать говорить
2. Уточняющий вопрос, возвращающий к действиям и контексту, а не к моральному вердикту: «Что помогло вам действовать тогда?», «Как вы принимали решение в тот момент?», «Что вы учитывали прежде всего?». Такой поворот переводит оправдание в описательную плоскость и позволяет информантке проговорить структуру ситуации (угроза, ответственность за ребенка, ограниченность выбора) без требования внешней санкции.
3. Контроль темпа и границ: если слезы/паузы усиливаются, предлагается короткая остановка и возможность сменить тему, при этом сохраняется возможность вернуться к эпизоду позже. Это снижает риск ретравматизации и поддерживает рамку интервью как исследовательского разговора.

В результате интервьюер остается в позиции поддерживающего слушателя, но избегает подмены роли терапевта или морального арбитра: контакт сохраняется, при этом нарратив продолжает разворачиваться в аналитически продуктивной логике (контекст, практики, решения), а не вокруг получения вердикта.

Виньетка 2. Невыносимые детали утраты: остановка как этическая техника

В отдельных интервью участники переходят к подробному описанию смертей близких (гибель родителей, детей или обнаружение погибших родственников). В этот момент меняется режим рассказа: повествование утрачивает дистанцию и приобретает характер повторного «проживания»: речь становится фрагментарной, появляются длительные паузы, слезы, телесные признаки напряжения, участник как будто возвращается в сцену события. Для исследователя такие фрагменты оказываются «невыносимыми» на уровне

слушания и внимания — не как личная реакция, а как индикатор критической зоны риска, где дальнейшая детализация может усиливать вред.

Инф.: *Я только... я открыла дверь... и он... (пауза) там... (кусает губы, плачет) он уже... (описывая гибель отца. — Примеч. авт.)*

Инт.: *Давайте остановимся. Вы не обязаны сейчас это проговаривать в деталях.*

Инф.: *Я... я не могу... у меня перед глазами... (Инф. 4, переселение 2022, женщина 21 год, дата интервью 15.11.2024).*

Инф. 5: *И я его... я его поднял... (длинная пауза) он тяжелый был... хотя раньше не казался таким. У него руки... (переходит на шепот) холодные уже... И я стою и не понимаю, что дальше делать... (пауза, отводит взгляд). Как будто все остановилось... (описывая гибель родственника).*

Инт.: *Я вижу, что это очень тяжело вспоминать. Хотите, сделаем паузу? Можем просто помолчать.*

Инф. 5: *Да... давайте... Потому что я сейчас опять туда... возвращаюсь... (вздыхает) (Инф. 5, переселение 2022, М., 61 год, интервью от 20.11.2024).*

Эти моменты характеризуются не «избыточной эмоциональностью» как таковой, а именно сменой режима говорения: участник перестает рассказывать «про событие» и начинает говорить «из события».

Какие риски есть в данной ситуации?

Если интервьюер продолжает расспросы (уточняет последовательность, просит описать детали), возрастает вероятность ретравматизации: участник закрепляется в режиме переживания, а после интервью возможны усиление симптомов и эмоциональный «откат» (подавленность, тревога, навязчивые образы). Одновременно у исследователя повышается риск вторичных эффектов: либо импульс «спасать» (дать советы, утешать, обещать помощь), либо обратная реакция — эмоциональное закрытие и механическое ведение разговора. В обоих случаях размывается рамка исследования и падает качество данных: интервью превращается в неконтролируемую сцену аффекта.

Возможное решение. Применялась техника остановки и переключения, основанная на принципе минимизации вреда. Она включала:

1. Отказ от уточняющих вопросов и фиксацию границы («мы можем не углубляться в детали», «вы не обязаны это рассказывать»).
2. Предложение паузы / воды / тишины и право сменить тему.
3. Перевод фокуса на менее травматичные, но аналитически значимые аспекты — ресурсы, поддерживающие связи, текущие практики жизни и восстановления («что помогло вам тогда продержаться?», «кто/что поддерживает сейчас?»).

Инт.: *Давайте сейчас чуть отойдем от этого. Я спрошу по-другому: что тогда помогло вам дойти до конца — буквально по шагам?*

Инф.: *Ребенок. Я смотрела на него и делала... просто делала...*



Инт.: *А сейчас — кто рядом, что помогает держаться?*

Инф.: *Соседка... и еще волонтеры. Они как-то... не дают опустить руки* (Инф. 6, переселение в 2022 г., женщина, 36 лет, дата интервью 15.10.2024).

Решение не углубляться в детали травмирующего события фиксировалось в рефлексивных заметках как элемент методологической компетентности в сенситивном поле: этически допустимый предел детализации здесь рассматривается как часть дизайна интервью, а не как потеря данных.

Виньетка 3. Злость и «я не знаю, что делать»: ожидание психологической опоры

Информантка рассказывает, что после переезда в Россию сталкивалась не только с сочувствием, но и со стигматизацией и даже агрессией. Описывая эпизод публичного оскорбления, она демонстрирует телесное напряжение (сжимает руки), несколько раз возвращается к одной и той же сцене, обозначает переживание как «невыносимую боль» и завершает рассказ формулой: «Я не знаю, что делать». Эта фраза маркирует интеракционный поворот: интервью смещается от описания событий к поиску выхода, а исследователь начинает восприниматься как потенциальный «помогающий» адресат совета и эмоциональной опоры.

«Я стою в очереди, и она громко: “Понаехали”. И еще добавила: “Вам тут не место” (пауза). Я сначала даже не поняла, что это мне. А потом как будто... обожгло (молчит, подбирает слова). Я злюсь, злюсь. Но если ответишь — скажут, что конфликтная. Если молчать, как будто согласилась (пауза, смотрит в сторону). И я не знаю, что делать. Просто не знаю» (Инф. 3, переселение в 2014 г., женщина, 38 лет, дата интервью 14.04.2019).

В ситуации прямого запроса («что делать?») возрастает риск подмены исследовательской роли консультативной: любое предложение может быть воспринято как рекомендация и может порождать невыполнимые ожидания или моральную ответственность исследователя. При этом чрезмерно сочувствующий ответ может закрепить зависимость разговора от поддержки, а чрезмерно дистанцированный — усилить чувство брошенности и закрыть доступ к дальнейшему рассказу. Для исследователя также вероятно «эмоциональное заражение» (злость, бессилие, желание вмешательства).

Решение: использовалась нейтральная эмпатия без обещаний и последовательная перенастройка на агентность участницы. Сначала признавалась тяжесть опыта («похоже, это действительно было очень болезненно»), затем делалась пауза, после чего вопрос «что делать» переводился из регистра совета в регистр практик: «Что вы делали тогда?», «Что помогло вам

пережить это в тот момент?», «Что помогает сейчас?», «Какие способы защиты/поддержки у вас уже есть?». Если у исследователя есть заранее подготовленные контакты внешних ресурсов, допустимо предложить информацию о них, подчеркивая границу: это не «помощь со стороны исследователя», а возможные опции поддержки вне интервью. Такая техника сохраняет эмпатию, но удерживает рамку исследования и снижает риск невыполнимых обязательств.

Виньетка 4. «Обязательно напишите»: исследователь как посредник и делегирование надежды

В ряде интервью запрос к исследователю выходит за рамку «быть услышанным» и приобретает форму обращения к интервьюеру как к посреднику. Участники предполагают, что исследователь способен «донести» проблему до тех, кто принимает решения, или хотя бы сделать ее видимой для широкой аудитории. И интервью смещается из режима описания опыта в режим делегирования надежды: рассказчик как бы передает интервьюеру часть ответственности за то, чтобы сказанное «не пропало» и «сработало». Этот поворот особенно заметен в финальных частях разговора или после эмоционально насыщенных фрагментов, когда участник подытоживает сказанное не выводом о себе, а просьбой о действии со стороны адресата.

Например, пожилая участница, описывая возвращение в освобожденный город, рассказывает о конфликте вокруг жилья («в моем доме живут другие»): появляются угрозы, возникает необходимость обращаться к властям или посредникам для восстановления прав. В ходе интервью просьбы повторяются и усиливаются: «Обязательно напишите», «Скажите об этом», «Донесите». Эти формулы переводят исследователя в позицию посредника, через которого участница пытается «доставить» свой опыт в поле институционального признания, как будто сам факт фиксации рассказа может стать защитой или шагом к решению.

«Вы только... вы обязательно это напишите. Потому что мы говорим, а нас никто не слышит... (задумывается, пауза). Напишите прямо... что я в свой дом пришла — а там чужие. <...> Пусть хоть кто-то узнает, как оно есть (эмоционально, повышая голос)... Мне бы... чтобы не пропало, чтобы знали» (Инф. 7, переселение 2022, женщина, 67 лет, дата интервью 18.06.2025).

В таких эпизодах происходит интеракционный поворот: участники обращаются к интервьюеру не только как к слушателю, но и как к возможному «каналу» передачи опыта вовне. Даже получив разъяснение о научных целях, информанты продолжают настаивать на публичной значимости сказанного.



Инф.: *Вы только напишите про это... потому что мы говорим, а потом это куда-то девается, как будто придумки это наши.*

Инт.: *Я могу включить это в анализ, но без деталей, по которым можно вас узнать.*

Инф.: *Да-да, лучше без имен... но где-то будет записано. Вот скажите там, что это не выдумки, что люди правда через это проходят (Инф. 5, переселение 2022, М., 61 год, интервью от 20.11.2024).*

Подобные обращения встречаются в интервью разных волн миграции и от информантов разного пола. Объединяет их одно: в фиксации рассказа участники видят гарантию того, что их опыт получит вес. Здесь высок риск завышенных ожиданий институционального эффекта исследования: участники могут воспринимать интервью как канал воздействия, а исследователь — испытывать моральное давление («вы должны помочь»). Возникает также риск для конфиденциальности: к примеру, рассказы о конкретном конфликте вокруг жилья часто содержат узнаваемые детали (место, имена, последовательность обращений), что может повышать уязвимость участников при публикации. Наконец, если исследователь отвечает уклончиво или слишком прямо «ничем не помогу», возможна травматизация вторичным отказом: запрос на посредничество оборачивается переживанием непризнания.

Возможно решение. Рамка удерживалась через прозрачность роли и признание значимости опыта. Ограничения проговаривались прямо и спокойно («я не представитель власти и не могу гарантировать решений»), но одновременно фиксировалась социальная значимость ситуации («то, что вы описываете, важно как пример того, как устроены конфликты и уязвимость после возвращения»). Просьбы «донести» переводились в исследовательский формат: «Я включу этот эпизод в анализ как возможную ситуацию», «Я опишу, как люди сталкиваются с такими проблемами». Параллельно усиливалась анонимизация: исключались или изменялись детали, повышающие узнаваемость (точная география, имена, редкие обстоятельства). Такая техника снижает риск завышенных ожиданий и защищает участника, не обесценивая его запрос на признание.

В совокупности виньетки показывают, что «терапевтическое ожидание» производится в интервью через повторяющиеся механизмы: моральную проверку, поиск опоры, делегирование решения и надежды на посредничество. Эти механизмы усиливаются в точках эмоционального пика и там, где опыт пересекается с институциональными процедурами признания и помощи. Соответственно, ключевой ресурс исследователя — не «эмоциональная нейтральность», а управляемая эмпатия, которая удерживает контакт, но не подменяет исследовательскую роль терапевтической или адвокатской.

Методологически это означает, что управление рисками должно рассматриваться как часть процедуры получения данных и как объект анализа: пауза, остановка, смена темы, минимальное подтверждение слышания и прозрачное проговаривание границ роли выступают не случайными реакциями, а повторяемыми техниками, обеспечивающими этическую приемлемость

и аналитическую продуктивность интервью. Именно фиксация таких решений (в дневнике/заметках) делает «этику как методологию» операционализируемой: этические границы становятся наблюдаемыми и описываемыми как элемент взаимодействия, а не остаются декларацией.

Заключение

Сенситивность интервью о войне и вынужденном переселении задается не только тематикой насилия и утрат, но и самой интеракцией в интервью: в ходе разговора исследователь часто оказывается не нейтральной фигурой. Именно в этой точке возникает «терапевтическое ожидание», то есть ожидание признания, подтверждения, эмоциональной опоры. Такое смещение рамки устойчиво проявляется в трех ключевых темах: при воспоминаниях о непосредственной угрозе и страхе, при рассказах о биографическом разрыве и моральной дилемме, при столкновении с институциональными барьерами и стигматизацией.

Выделенные виньетки демонстрируют вариативность форм «терапевтического ожидания»: от запроса на подтверждение и снятие вины до делегирования надежды и ответственности за публичность проблемы. При этом подобные обращения являются не «помехой» сбору данных, а индикатором того, как травматический рассказ морально организуется в ситуации интервью и какие роли распределяются между участником и исследователем. В методологическом плане это означает, что управление границами — не внешняя «этическая надстройка», а часть производства данных: решения об остановке, смене темы, темпе, допустимой глубине детализации и финальном дебрифинге напрямую формируют то, что может быть сказано и зафиксировано.

В статье предложен практический контур удержания рамки интервью: предварительное согласование роли и правил разговора, право на паузу / прекращение темы, нейтральная эмпатия без обещаний и оценок, переключение при признаках перегрузки, а также короткий дебрифинг после интервью и рефлексивная фиксация решений. Эти практики позволяют сохранять эмпатический контакт, но не подменять исследовательскую роль терапевтической. Ограничения анализа связаны с форматом представления материала (виньетки и рефлексивные записи вместо полного массива стенограмм), что снижает точность реконструкции отдельных речевых ходов, но позволяет сделать видимыми типовые этико-методологические дилеммы и повторяющиеся решения в поле.

Более широкие последствия для методологии качественных исследований в постконфликтных обществах состоят в том, что эмоциональные и моральные ожидания информантов следует рассматривать как структурный элемент полевой ситуации. Это предполагает описание не только «содержания» нарратива, но и условий его произнесения: фиксацию контекстов, в которых интервью смещается из режима «рассказа о событиях» в режим «поиска опоры»; прояснение вмешательств интервьюера (паузы, переключения, завершение темы)



как аналитически значимых ходов, а также включение в дизайн исследования протоколов деэскалации и завершения разговора. В сравнительной перспективе это позволяет сопоставлять не только темы и сюжеты, но и формы обращения к исследователю (как к свидетелю, представителю институций или посреднику), то есть сравнивать режимы публичного или частного говорения и условия, при которых свидетельствование становится возможным.

Второй блок последствий относится к подготовке исследователей и институциональной инфраструктуре. Если «терапевтическое ожидание» является регулярной характеристикой интервью на чувствительные темы, то риски эмоционального выгорания, вторичной травматизации и этической перегрузки должны рассматриваться как управляемые профессиональные риски, а не как индивидуальная проблема отдельного исследователя. Практически это означает необходимость формализованных практик супервизии и дебрифинга, обучения навыкам ведения сложного разговора (границы роли, распознавание перегруза, завершение темы), а также наличия институциональной поддержки: времени на восстановление между интервью, доступа к психологической помощи при необходимости и ясных протоколов реагирования на кризисные ситуации. Встраивание этих элементов в исследовательские проекты повышает не только безопасность, но и качество данных.

Третий блок последствий касается границ между исследовательской работой, активизмом и помогающими практиками. В чувствительном поле интервью нередко оказывается встроено в инфраструктуру поддержки (НКО, волонтерские инициативы, практики взаимопомощи), а сам исследователь может восприниматься участниками как потенциальный посредник или ресурс. Это повышает риск размывания ролей и завышенных ожиданий, а также этической неоднозначности контактов после интервью. Методологически это требует заранее проговаривать границы роли и возможные формы поддержки (если они предусмотрены), разделять исследовательское взаимодействие и помогающие действия, фиксировать, что считается данными и на каких условиях, и избегать обещаний институционального эффекта исследования. Прозрачность этих границ снижает риск вторичного отказа и одновременно делает само поле более предсказуемым как для участников, так и для исследователя.

Литература / References

- Bergman Blix S., Wettergren Å. (2015) The Emotional Labour of Gaining and Maintaining Access to the Field. *Qualitative Research*. Vol. 15. No. 6. P. 688–704. DOI: <https://doi.org/10.1177/1468794114561348>
- Brinkmann S., Kvale S. (2015) *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. 3rd ed. Los Angeles: Sage Publications.
- Das V. (2007) *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*. Berkeley: University of California Press.
- Dickson-Swift V., James E. L., Kippen S., Liamputtong P. (2008) Risk to Researchers in Qualitative Research on Sensitive Topics: Issues and Strategies. *Qualitative Health Research*. Vol. 18. No. 1. P. 133–144. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732307309007>

Felman S., Laub D. (1992) *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. New York; London: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203700327>

Figley C.R. (ed.) (1995) *Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized*. New York: Brunner/Mazel. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203777381>

Goffman E. (2017) *Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior*. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203788387>

Hochschild A.R. (1983) *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.

Kleinman A. (1997) *Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine*. Berkeley: University of California Press. DOI: <https://doi.org/10.1525/9780520919471>

Kleinman A., Das V., Lock M. (eds.) (1997) *Social Suffering*. Berkeley: University of California Press.

Kleinman S., Copp M. A. (1993) *Emotions and Fieldwork*. Newbury Park: Sage Publications.

Orb A., Eisenhauer L., Wynaden D. (2001) Ethics in Qualitative Research. *Journal of Nursing Scholarship*. Vol. 33. No. 1. P. 93–96. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00093.x>

Orbuch T.L. (1997) People's Accounts Count: The Sociology of Accounts. *Annual Review of Sociology*. Vol. 23. P. 455–478. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.455>

Pearlman L. A., Saakvitne K. W. (1995) *Trauma and the Therapist: Countertransference and Vicarious Traumatization in Psychotherapy with Incest Survivors*. New York: W.W. Norton.

Scott M. B., Lyman S. M. (1968) Accounts. *American Sociological Review*. Vol. 33. No. 1. P. 46–62.

Сведения об авторе:

Муха Виктория Николаевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия. **E-mail:** v.mukha@bk.ru. **РИНЦ Author ID:** [598470](https://elibrary.ru/author?id=598470); **ORCID ID:** [0000-0003-4975-0438](https://orcid.org/0000-0003-4975-0438); **ResearcherID:** [AAP-3427-2020](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/authorship/101702020/).

Статья поступила в редакцию: 14.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.1.1

.....

When the Interview Becomes “Almost Therapy”: Researcher’s Role Boundaries in Conversations about War and Forced Displacement

DOI: [10.19181/inter.2026.18.1.4](https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.4)

Victoria N. Mukha *Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia*
E-mail: v.mukha@bk.ru

The article examines professional and ethical risks arising in in-depth interviews with individuals who have experienced war and forced displacement. Drawing on interviews with refugees from Ukraine (2014 and 2022 waves), it analyzes situations where the researcher is perceived by informants not only as a “data collector” but also as a figure of potential support — a listener, “psychologist”, mediator capable of alleviating tension and endowing traumatic experience with meaning. The article demonstrates how “therapeutic expectation” is produced during interviews:



through requests for advice and evaluations, boundary testing, and attempts to shift the conversation from testimony mode to emotional support mode. These interactional moments create risks of re-traumatization for participants, as well as risks of blurring the researcher's role and secondary traumatization of the researcher themselves. The article proposes a typology of situations where interviews begin shifting toward "quasi-therapeutic" interaction and describes boundary-maintenance practices: frame agreement, right to pause and discontinue topics, neutral forms of empathic response, post-interview debriefing procedures, and reflexive documentation. It concludes that acknowledging the researcher's emotional involvement can be transformed into a methodological resource without substituting professional roles.

Keywords: in-depth interview; forced migration; traumatic experience; research ethics; researcher's role boundaries; secondary traumatization; reflexivity; debriefing

Author Bio:

Victoria N. Mukha — Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Sociology, Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia. **E-mail:** v.mukha@bk.ru. **RSCI Author ID:** 598470; **ORCID ID:** 0000-0003-4975-0438; **ResearcherID:** AAP-3427-2020.

Received: 14.02.2026

Accepted: 18.03.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.5

EDN: CKQHSU

Другое время, другое место, другие мы. Ретроспективный взгляд на чувствительность тюремных исследований

Ссылка для цитирования:

Омельченко Е. Л., Гарифзянова А. Р. Другое время, другое место, другие мы. Ретроспективный взгляд на чувствительность тюремных исследований // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 94–110. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.5> EDN: CKQHSU

For citation:

Omelchenko E. L., Garifzianova A. R. (2026) Another Time, Another Place, Another Us. A Retrospective Look at the Sensitivity of Prison Studies. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 94–110. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.5>



Омельченко Елена Леонидовна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: eomelchenko@hse.ru



Гарифзянова Альбина Раисовна

Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
Казань, Россия

E-mail: ARGarifzyanova@kpfu.ru

Статья посвящена чувствительным сторонам коммуникации исследователей и информантов на примере ретроспективного анализа данных последнего этапа проекта, посвященного историческим и географическим особенностям современных тюремных систем, влияющим на идентичность и стратегии заключенных из этнических меньшинств¹. Внимание обращено

¹ Речь идет о пятилетнем международном проекте, посвященном сравнению тюремного опыта, стратегий адаптации и ресоциализации заключенных из этнических меньшинств в контексте разных пенитенциарных систем (руководитель проекта — профессор Джудит Пэллот).



к этическим дилеммам и эмоциональному напряжению в процессе бесед с женщинами, продолжающими отбывать наказание в одном из исправительных центров России. Важный элемент анализа — акцент на месте/пространстве и времени работы в поле, задающих контекст исследованию тюремных историй и стратегий выживания сидельцев. В ходе ретроспективного анализа четырех интервью выявлено несколько стратегий преодоления эмоционального напряжения бесед: от осуждения — к усиленной поддержке, от нейтрализации собственных эмоций — до полной, подчас неуместной вовлеченности. Эти обсуждения дополняются критическим взглядом на этические дилеммы и тупики, с которыми столкнулись социологи в этом крайне сложном поле.

Ключевые слова: тюремные исследования; этические дилеммы; эмоциональное напряжение; исследовательская рефлексия

Введение

Тюремные исследования, в частности проект, материалы которого используются в статье, по всем канонам профессионального социологического сообщества относятся к сенситивному опыту, требующему от социолога навыков ведения беседы и тактик преодоления риска как для информанта, так и для себя [Blackman, 2007; Гарифзянова, 2008]. Эти поля связаны с эмоциональной напряженностью, с непроработанными этическими вопросами и дилеммами [Pilkington, Omelchenko, Garifzianova, 2010; Pink, 2015; Скибо, 2021; Гудова, 2019; Кузинер, 2024; Омельченко, 2020]. Высокие требования обращены не только к профессиональным качествам и полевому опыту социолога, насмотренности «другой жизни». Важнее оказываются личные качества человека: устойчивость картины мира, готовность разделять чужую боль и вместе с тем держать дистанцию, чувствовать опасность и принимать решение «в моменте» — идти или нет на риск [Пинчук, 2025]. В данном случае соединились все «приметы» сенситивного поля. Направление исследования: этнорелигиозное измерение неравенства в тюрьме. Закрытые и труднодоступные группы, подверженные общественному осуждению и стигме: мужчины и женщины, имевшие тюремный опыт или продолжающие отбывать наказание. Люди, осужденные за общественно неприемлемые действия или практики: убийства, грабежи, насилие, сбыт и торговля наркотиками, алкоголизм. Круг тем, обсуждаемых в интервью: власть, статусы и иерархия в тюрьме, доступность религиозных практик [Омельченко, Гарифзянова, 2026]. Тюремная повседневность: интимность, гигиена, сексуальность, семейное насилие, тяжелые болезни — ВИЧ, туберкулез, онкология [Омельченко, 2016; Гарифзянова, 2022; Лисовская, 2023].

География большого проекта включала несколько исследовательских кейсов: Свердловскую область (несколько населенных пунктов), Республика Татарстан (несколько городов) и Санкт-Петербург. Длительность поля

объясняется не только географией, но и жесткими условиями рекрутинга — необходимостью обеспечить этническое разнообразие информантов. Таким образом, нашими информантами были мужчины и женщины различного возраста, разной национальности, тюремного статуса, сроков отсидки, имевшие опыт тюремного заключения в прошлом [Omelchenko, Garifzyanova, Pallot, 2024]. Но на последнем этапе проекта рекрутинг привел нас к реальным заключенным (они продолжали отбывать наказание в исправительном центре на момент интервью²), в силу чего собранный материал является уникальным. Формально наши информанты³ имели статус осужденных и продолжали отбывать срок, хотя институт пробации (исправцентры) предполагает частичное ограничение свободы действий⁴. Цель пробации — адаптация к жизни в обществе и трудоустройство [Саутина, 2020].

В фокусе статьи — взаимное влияние *места* (все интервью взяты в одной локации), *времени* (две недели 2020 и три недели 2021 года) и *историй* (женщин-заключенных) вместе с этическими дилеммами и конфликтами, возникавшими в ходе эмоционально нагруженных интервью. Мы начали это поле, уже имея опыт тюремных исследований. Трудности этой части связаны не только со сложным рекрутингом, сроками проведения, бюрократическими барьерами. Мы работали в интенсивном режиме: завершая один этап, сразу приступали к следующему. Дополетовые установки были связаны исключительно с задачами проекта, классическими представлениями о нашей и информантов безопасности, сроками каждого этапа. Ретроспективный взгляд на это исследование позволяет заново пережить тот опыт, переосмыслить его с точки зрения чувствительных моментов в коммуникации с информантами, критически взглянуть на себя из сегодняшнего дня.

На протяжении всего проекта нас сопровождали риски и эмоциональная нагрузка: беспокойство о безопасности (своей, коллег, близких), сильные переживания во время проведения интервью (место проведения, эмоциональное состояние информантов), пострефлексия — обсуждение удач и провалов, обмен мнениями об итогах дня. Этот кейс от начала и до конца мы делали

² Исправительные центры в России — это учреждения уголовно-исполнительной системы (подчинены ФСИН), предназначенные для отбывания осужденными наказания в виде принудительных работ. Это не тюрьма, а вид наказания без полной изоляции от общества за хорошее поведение в результате смягчения наказания. Осужденные живут в общежитиях, работают (обычно на низкооплачиваемых позициях), получают зарплату (часть уходит за содержание), могут пользоваться мобильной связью и интернетом, но ограничены в передвижении, подчиняются строгому распорядку (должны возвращаться вовремя или выходить на видеосвязь). Прикрепленные к исправцентру заключенные могут снимать квартиру и жить с семьей. С 1 января 2024 года в РФ действует закон № 10-ФЗ «О пробации», направленный на ресоциализацию и адаптацию осужденных. Исправцентры активно развиваются с 2018–2020 годов в качестве альтернативы лишению свободы. В них отбывают наказание те осужденные, кто не имеет нарушений во время пребывания в колониях. Это альтернатива лишению свободы под контролем ФСИН. Во многих регионах есть исправительные центры, также они могут принимать осужденных из других субъектов РФ.

³ В рассматриваемом кейсе было взято 36 глубинных интервью с мужчинами и женщинами, имеющими опыт тюремного заключения от 2 до 30 лет, осужденными по различным статьям — от распространения наркотиков, мошенничества, грабежа до жестоких убийств.

⁴ Федеральный закон от 06.02.2023 № 10-ФЗ.



вдвоем⁵. У каждой из нас есть опыт пребывания в поле и в одиночестве, и в коллективе исследователей. Это поле запомнилось ежедневной рефлексией и взаимной терапией вокруг услышанных историй и сопутствующих им сюжетов⁶.

Доступ к полю и информантам стал возможным благодаря проводнику, который максимально помогал в течение всего времени работы в поле. На момент знакомства он сам отбывал срок в исправительном центре и работал в местной НКО, которая напрямую сотрудничала с исправцентром. Эта организация, ориентированная преимущественно на поддержку мусульманских общин, была не просто местом его работы, а местом служения: он помогал другим заключенным найти работу, восстановить документы и получить помощь.

С ноября 2020 по февраль 2021 года мы с разной периодичностью посещали Исправительный центр для бесед с информантами. Плотность интервью могла быть высокой (до нескольких в день у каждой из нас), мы работали подряд две-три недели, затем наступал перерыв, позже мы возвращались в поле.

Место

Место, где проводится интервью, — важная деталь таких сложных полей и задач, информанты должны быть полностью уверены в конфиденциальности разговора, доверять нам, важно, чтобы никто не мешал и не прерывал беседу.

Работа началась в ноябре, было по-зимнему холодно и морозно. Каждый вечер мы отправлялись на другой конец города. Интервью проводились по вечерам, в первой половине дня информанты работали. Автобусы ходили нерегулярно, благо, у одной из нас была машина. Мы подъезжали к слегка освещенному административному зданию, вокруг темное зимнее ночное небо и белый снег, длинный высокий забор и КПП. Там, на окраине, в промышленной зоне на территории бывшей колонии для несовершеннолетних и находится исправцентр, здесь в прошлом проводились мероприятия по воспитательной работе с несовершеннолетними заключенными и занятия по изучению внутреннего режима и распорядка дня.

Отдельного внимания заслуживает описание пространства, где проходили интервью. Наш проводник показывал на КПП пропуск, и нас пропускали. Здание открывали специально для нас, до прихода информантов мы там были одни. Пройдя длинный коридор, мы попадали в небольшой актовый зал со сценой, где были сосредоточены экспонаты — агитационные материалы,

⁵ Этот этап проекта проводился двумя исследовательницами — Альбиной Гарифзяновой и Еленой Омельченко в 2020–2021 годах.

⁶ Существующие профессиональные техники психологической терапии или способы совладания со стрессом, описанные в учебниках, в нашем случае не работали. Наша «терапия» выражалась в разговорах «ни о чем», бытовой рутине — шутках, приготовлении еды, просмотре фильмов, с попутным обсуждением особенно сложных моментов взятых интервью. Важно было отвлечься от того, что мы слышали и узнали. Нам просто не хватало времени на глубокую рефлекссию и взаимную поддержку, потому что наступал следующий вечер и следующие интервью.

красное знамя, грамоты побед в спорте и художественной самодеятельности, фотографии работников колонии, своего рода красный уголок. наших собеседников и собеседниц приводили с другой стороны прямо из бывшей колонии, где располагались бараки. Логика индивидуального интервью связана с особым вниманием к месту его проведения: наедине и в тишине. Поэтому одна из нас оставалась с информантом в актовом зале, другая уходила в соседнюю комнату, где находился кабинет приходящего психолога. Сама атмосфера этого места и дорога до него производили тягостное впечатление, но жизненные истории наших собеседников и собеседниц дополняли их еще более гнетущими чувствами. В помещениях с приглушенным освещением и абсолютной тишиной вокруг мы погружались в их истории с описаниями ужаса тюремного заключения. Место и истории информантов усиливали друг друга, создавая эффект нереального кино, в котором мы и они играли главные роли. Будто специально для большей погруженности в эту атмосферу, произошел небольшой, но крайне неприятный и рискованный случай. Одна из нас завершила свое интервью раньше и пошла искать туалет, который был достаточно далеко от актового зала. Дверь заклинило (сломался замок), открыть самостоятельно и выйти не получалось. Более получаса в полной изоляции и тишине. Телефона с собой не было (сумка осталась на месте проведения интервью), пришлось звать и кричать коллегу. Она не слышала и не могла ответить — продолжала брать интервью, двери на время интервью закрывались. Никто не слышит, выйти на свободу невозможно. Было страшно не только физически остаться взаперти в этой маленькой, плохо освещенной комнатке, где сломался замок. Был настоящий ужас остаться там надолго. То самое ощущение безысходности телесного заключения, подобное тому, что информанты испытывают годами. Когда коллега закончила проводить интервью, она думала, что второе интервью еще продолжается. Прошло около часа, и она пошла искать. Дверь не открывалась, пришлось вызывать техника. Пришел он тоже не сразу...

После подобных случаев и эмоционально нагруженных, сложных интервью, дополненных липким страхом, мы ехали домой молча, как бы преодолевая полевою часть нашей жизни сквозь трассу, как красную линию. Мы постепенно возвращались в нашу собственную жизнь с приятной и привычной рутинной — традиционным заездом за продуктами, приготовлением еды и ужином. Эти повторяющиеся практики помогали развеять тяжелую атмосферу после интервью, правда, основными темами разговоров во время ужина оставались нарративы наших информантов.

Время

Мы вольно или невольно возвращаемся в это поле и в то время. Кейс, материалы которого легли в основу статьи, не должен был стать последним, были новые договоренности, идеи и продолжения. Мы не знали, что завершение этого этапа практически совпадет с вынужденным окончанием



нашего участия в проекте. Мы не просто вышли из этого поля. Чуть позже выяснилось, что из большого проекта мы также вынуждены были уйти⁷. У нас в запасе оставалось еще два года, чтобы продолжать общаться с коллегами, участвовать в созвонах и семинарах, писать коллективные статьи, выступать на конференциях... Наши информанты были людьми, в силу разных обстоятельств исключенными и крайне уязвимыми. Через год мы сами почувствовали себя «закрытыми» и исключенными из контекста сотрудничества с коллегами и друзьями, с которыми проработали к тому времени более 15 лет.

После завершения этого кейса прошло пять лет. Мы возвращаемся к теме, пытаюсь ретроспективно воспроизвести рефлексию пережитых моментов, дополнив ее сегодняшним ощущением того времени. В системе исправительного наказания, причем не только в России, вряд ли что-то быстро и кардинально меняется. Однако начиная с февраля 2022 года произошли события геополитического масштаба, в которые, пусть и не напрямую, оказался частично вовлечен «контингент» потенциальных информантов. Мы не знаем, как проходило бы подобное исследование сейчас, хотя вряд ли это было бы возможно. Мы сознательно уходим от политизации этого вопроса. Наша идея — вернуть в актуальную академическую дискуссию тему тюремных исследований вместе с обсуждением особенностей эмоциональной работы в подобных полях. Возвращаясь на пять лет назад, мы перечитываем нарративы и дневники, вспоминаем эмоции и переживания того времени, дополняем их новым опытом и приступаем к осмыслению уникального по сути материала.

Коммуникация исследователей и информантов: на границе осуждения и поддержки

Мы выбрали четыре интервью с женщинами, которые продолжали отбывать свои сроки в исправцентре. Сходства и различия их историй важны для понимания сенситивности тюремных исследований в целом. Схожесть связана в первую очередь с их гендером. Женская судьба заключенной в России, типичная и трагичная одновременно, наполнена испытаниями, потерями связей с детьми, мужьями, родственниками. Сиделицам редко кто-то помогает на регулярной основе [Омельченко, 2012]. Две из них — мамы, все были в браке или сожительствовали. Материнство было общей темой для всех: кто-то лишен родительских прав, чьих-то детей воспитывают родители заключенной, одна сожалеет, что так и не успела стать мамой. Схожи истории их попадания в места лишения свободы — употребление алкоголя или наркотиков, сбыт и распространение наркотических веществ, грабежи и мошенничество. Линии различий их тюремного опыта строятся вокруг их

⁷ Полевой сбор материала завершился ровно за год до февраля 2022 года, сам проект (уже без нас) продолжался до 2024 года.

статусов в исправительных колониях («помогалки»⁸, «баульницы»⁹, «кратки»¹⁰, дневальные¹¹ и другие), что определял выбор ими стратегий выживания в местах лишения свободы.

В каждом из четырех интервью мы остановимся на этических конфликтах между социологами и информантками, в которых отчетливо проявлялось эмоциональное напряжение. Фокусом размышлений будут формы реакции собеседниц на обсуждаемые вопросы, способы поддержки включенности и интереса при столкновении профессиональных задач исследования и личных этических принципов социолога. Отобранные отрывки из интервью не являются исключительной характеристикой каждой беседы, а отражают особо чувствительные стороны взаимодействия, которые могут восприниматься как находки, но и как ошибки, провалы в коммуникации. Особая чувствительность и этическая чувствительность поля сопрягаются здесь с контекстом места, пространства и времени его проведения, атмосферы, сопутствовавшей уникальной возможности поговорить с теми, чьи тюремные сроки не завершены.

Эмоциональная поддержка как способ снятия напряжения через акцент на внешности собеседницы

Первая информантка, интервью с которой вдохновило нас на рефлексия, — Женья, 28 лет¹². Кандидат в мастера спорта по академической гребле, с хорошим образованием, планировала поступление в университет. Считала себя русской, при этом говорила, что в ней «смесь еврейских и армянских кровей». Это ее первый срок — 11 лет за наркотический оборот в крупных размерах (синтетические наркотики). Другие заключенные «ненавидели меня», — говорила она во время интервью. Отличается не только нестандартной для тюрьмы внешностью (яркая блондинка), но и умением кроить/шить, выполнять особые заказы, была на хорошем счету у начальства колонии: «Я могла ходить не в форме». «Грелась»¹³, вначале ее содержали (с воли) на 30 тыс. руб. в месяц, потом на 3 тыс. В колонии носила брендовое нижнее белье, договаривалась с охраной (администрацией) о передаче дорогих духов для себя и подруг.

⁸ «Помогалки» — это низкий статус в тюрьме. Они вынуждены стирать, убирать за другими, выполнять хозработы, получают за это какие-то ресурсы (еду, сигареты, прокладки): «моют за кого-то полы...». С воли им, как правило, не помогают («не греются»), отличаются психологической неустойчивостью.

⁹ «Баульницы» — те, кто «греется», получает большие передачи с воли. «Хоть детоубийца, хоть ты Ганнибал там какой, если есть баул, ты лучшая подруга, там идет баульная страшная система» (Арина, 34 года).

¹⁰ «Одноходы», «второходы», «кратки» — статус в зависимости от количества отсидок: «Там есть люди, которые отсидели четыре, три раза, понимаете уже? Понимаете?! „Кратки“ у нас называют, „кратки“ — неоднократно судимые...» (Арина, 34 года).

¹¹ «... Вот от дневальной очень много зависит. Она была за всех за нас, просто за нас, за каждую. Она как бы не сотрудничала (с администрацией). — Прим. авт.), а вот то, что от нее просили, она выполняла...» (Залина, 46 лет).

¹² Имена всех информанток изменены.

¹³ «Греется» — означает получение заключенной передач, посылок (сигарет, чая, денежных переводов) от родственников, друзей с «воли».



Могла себе позволить доставку суши и шашлыка. Легко шла на сотрудничество с администрацией («они ко мне очень лояльно относились»). В колонии имела особый статус: «...У меня могла быть стеклянная кружка, я свободнее себя чуть-чуть чувствовала, и людей это раздражало». Детей нет. Интервью взято в конце ноября 2021.

Порой нам начинали нравиться наши информантки, и мы открыто демонстрировали симпатию, восхищались их мужеством, проявленным в трудной жизненной ситуации. Внимание могло переключиться на близкое и понятное обсуждение «женских дел». Так, несовпадение внешнего облика респондентки и тюремной истории привели к избыточному, подчас неуместному восхищению.

«Инт.: *Офигеть. У Вас и сейчас такая модельная внешность, честно говоря...*

Женя: *Ну, я не сказала бы, если честно...*

Инт.: *Нет, нет, серьезно, очень отличаетесь. Я, можно сказать, многих видела... тех, кто имел такой печальный опыт, мягко говоря... У Вас такая яркая внешность. Сложно поддерживать вот эту всю красоту?*

Женя: *Тяжеловато. Раньше... я ходила раз в неделю к косметологу, я ничего не делала, она мне там чистку сделает — и все. Сейчас, у меня никогда не было столько кремов, Вы не поверите. То есть они мне не нужны были, то есть я проснулась, и я красивая была. ... Там расчесался, голову помыл и пошел. А сейчас, то есть у меня столько кремов, я смотрю и думаю, господи, если я еще старше буду, там еще их больше будет? (смеется)»*

Эмпатия к собеседницам возникала вместе с мысленным разделением личности женщины, которая искренне делится с нами фактами своей непростой жизни, и той, что совершила преступление, за которое оказалась в местах лишения свободы. Мы могли их оправдывать по разным причинам: «сама жизнь с детства вела их к совершению этого преступления...» или «у нее не было выбора» (из дневника исследовательницы). С одной стороны, искреннее восхищение личными качествами информантки, с другой — внутреннее чувство дисбаланса между внешностью собеседницы и местом, где проходило интервью. Все это создавало этически неоднозначный момент коммуникации: казалось бы, налицо разворачивание беседы вслед за неконтролируемым со стороны социолога искренним восхищением, а по сути — манипуляция. Исследовательница неосознанно манипулировала, раздавая щедрые комплименты информантке, подталкивая ее к еще большей откровенности. В ходе этой беседы была получена богатая информация о тюремном режиме от той, кто «греется» и сотрудничает с администрацией¹⁴. Это помогло подсветить особенности режима в женской колонии, когда деловые качества, внешняя привлекательность и ухоженность сиделицы помогают сохранить достоинство и субъектность. Остается открытым вопрос: насколько это было уместно?

¹⁴ Сотрудничество с администрацией традиционно осуждается, но в реальности, особенно если это касается женской колонии, это может стать основой выживания. Сотрудничество может выражаться как в участии в мероприятиях самодеятельности, в помощи сотрудникам, одолжении, так и в «стукачестве» на других заключенных.

Эмоциональная напряженность и внутреннее сопротивление социолога в ответ на этический конфликт в истории информантки

Лейла, 53 года, — чеченка, родом из Дагестана, «сбытчица», занималась продажей наркотиков ради мужа («у меня муж начал колотья, вот ради него... все это сделала»), после ее ареста и заключения он женился на другой. Это ее первый срок (11,5 лет). Детей нет. Сильная и волевая женщина, сотрудничала с администрацией («подралась в швейке, убрали оттуда... в отряде помогла санрейд, проверка же, чистота. Вот это я контролировала»). «Грелась» («все поддерживают меня»), занимала положение «блатной»¹⁵, что поддерживалось ее широкими внутритюремными связями и «крутым» прошлым наркобизнеса. Отличалась крайне патриархальной позицией¹⁶. Постоянно возвращалась к своей непрощаемой вине, отсылая к обязательной каре со стороны Аллаха и родственников (особенно мамы). Чувства вины и раскаяния сочетались с агрессивной критикой женщин, попавших в тюрьму в результате наркопотребления. Интервью было взято в феврале 2021 года.

Исследовательнице постоянно приходилось справляться с очевидными противоречиями в рассказе Лейлы. Она получила срок за создание картеля по продаже (через интернет, сеть закладок и закладчиков) одного из синтетических наркотиков:

«...чѐ меня толкнуло туда, может, я душой была, может, у меня ума не хватало. Или я большие деньги захотела... от них шли же большие деньги все равно, день... чѐ там скрывать, вот день 50, 100, 150 тысяч деньги зарабатывала. Это же деньги?»

Сама она (судя по ее словам) никогда не употребляла ни наркотики, ни алкоголь, «кололся муж», который ее и сдал. Самый большой срок по этим статьям (11,5 лет) говорит о широкой сети потребителей и посредников, с кем она работала. В колонии она сидела в окружении женщин, в сроках которых и, конечно, зависимости от наркотиков, она, пусть и опосредованно, виновата.

«...Когда приехала, я увидела этих девок-наркоманок в зоне, у них проколоты все, вот эти дырки в ногах, я смотрела, я сама себя ненавидела. Неужели я за это деньги делала, а чужие матери плакали... за это я себя не могу простить... Я сама ходила, я сама покупала и перепродавала. ... Деньги, деньги, деньги...»

¹⁵ «Блатная», или «старшая», в женской колонии — это обычно авторитетная осужденная (часто рецидивистка), которая управляет жизнью в отряде, следит за порядком и часто взаимодействует с администрацией колонии.

¹⁶ Отчетливее всего это проявлялось в жестком неприятии женского сожительства в колонии: «...С ними дружат там, друг друга целуют там, обнимают. Но я им всегда говорила: стоп! Я прямо в лицо говорила: я ненавижу вас... В прошлом году уже начали им полоски там какие-то ставить зеленые, рапорта начали писать... больше варианта не было, с ними бесполезно было бороться. Вот так живут бабы».



Некоторые истории ее раскаяния слушать было невероятно сложно. Она говорила о своей вине перед Аллахом, родом и семьей, перед сокамерницами, но тут же дополняла эти слова жесткими и грубыми деталями, обвиняя молодых женщин в неуважении к себе и окружающим:

«Мне все говорили: лучше ты человека убила бы, чем наркотиками сесть... так-то разницы нету — человека убить, наркотики про-давать, и так убиваешь ты, и так убиваешь ты. ...У нас почти все наркоманы сидели. У всех большие срока, 8, 9, 11, 15, девки умирали... почему женщины так себя губят? ...Женщины все прокуряют, все, вот эти шрамы... (Какие шрамы?) Ну вот такие, как кололись, вот на ногах, на теле. Я говорю: а почему у вас так это? — ...После уколов сжигаем... (Что сжигаем?) Ну, выжигают они вот этот, куда это сделают, и там остаются шрамы... страшно на них смотреть. Ну голова у нее краси-вая, разговор нету, ну фигура, да, приятная ты девушка, но ты вся себя исколола и испортила...»

Ее «раскаяние» звучало противоречиво, и продолжать интервью в том же ключе становилось похожим на эмоциональное и психологическое испытание.

«...Половина лагеря все семейные, дети у них. ...Слава Аллаху, он мне не дал ребенка... Я в наркотики влезла, это месть моей роду. Некото-рые вот эти старейшины были бы живы, они сказали бы: закопай ее, она нас опозорила... мне еще повезло, что я была замужем, вот че меня спасло. ...Мне стыдно было перед этими нашими мужиками, дагестан-цами, перед ними идти на прогулку. Просто мне деваться некуда было, я на себя руки ложить тоже не могла... Даже котенка у меня нету».

Сложно было проявлять какую-то эмпатию, хотелось скорее закончить интервью и быстрее уехать домой. В нарративе Лейлы было достаточно примеров трудностей и жестокости тюремной жизни. С точки зрения выполнения задач исследования оно было крайне информативно. Эта сильная и жестокая женщина без особых усилий вписалась в тюремную иерархию и не чувствовала каких-то лишений. Однако возникшее с самого начала предубеждение в отношении искренности признания вины и раскаяния мешало выстроить контакт. Это яркий пример другой стороны чувствительности — вынесе-ние субъективного вердикта в отношении приговора и срока, что нами же признавалось неуместным и мешало выстраивать беседу в доверительном ключе. В отличие от первой информантки, Лейла откровенно не нравилась и не вызывала сочувствия. Принятые в социологии этические установки в данном случае ушли на второй план и перестали работать. Точкой неявного конфликта стали эмоции исследовательницы. Было крайне сложно поддержи-вать баланс между сохранением нейтральности и чувством неприязни. Поддерживать дистанцию и эмоциональное равновесие, одновременно с этим вовлекать собеседницу в продолжение беседы в целом крайне тяжело,

а порой просто невозможно. В таких сенситивных моментах полевой коммуникации только честное и открытое обсуждение подобных эмоционально окрашенных трудностей, рефлексия и самокритика могут стать реальным выходом из этического тупика.

Интерес к истории заключенной и отсутствие эмпатии к человеку

Залина, 46 лет, родом из Башкортостана, начала употреблять наркотики в достаточно позднем возрасте (*попросился ко мне один мужчина жить... освободился с тюрьмы... оказалось, что он мелко приторговывает наркотиками. ...Полгода он прожил, и вот с ним первый раз я попробовала наркотики... мне было тогда 41»). Мать двоих детей (5 и 19 лет), получила большой срок за сбыт наркотиков в сговоре. Наполовину татарка, наполовину русская. Окончила вуз, работала учительницей русского языка и литературы. В колонии не «семейничала»¹⁷ (*привыкла сама по себе*). Отбывала срок в мордовской колонии (*«говорят, кто не был в Мордовии, тот вообще не сидел*). В колонии много зарабатывала, помогала родителям, с которыми жил ее младший сын (*«у нас дорогая продукция, потому что я вот по 20 тыс. домой отправляла переводы...»*). Интервью взято в марте 2021 года.*

Долгая и подробная история этой респондентки сопровождалась подерживающими отстройками исследовательницы: *«Что, правда? Ужас какой! Как Вы это пережили? Да уж, если попала, уже бесполезно. Оттуда точно не выйдешь...»*. Исследовательница подталкивала информантку к большим подробностям в описании наказаний и пережитых унижений — развернутые нарративы были крайне важны для решения ключевых задач проекта. Получилось одно из самых информативных интервью о жестких режимах в мордовских колониях, особенно по отношению к тем, кто «не грелся» и стремился сохранять свое одиночество и отстраненность.

«Норму выработки если не выполняешь... на швейке, тебя ведут на дубинал и дубачки дубинками по ногам, по почкам просто. (Это эчки тоже?) Нет, это персонал, сотрудницы, охранницы. (Ужас какой, а они бьют куда?) По ногам, по почкам. (Прям реально бьют и бьют?) Да, битыми своими, просто берет и стучает».

Залина подробно рассказывала про бессмысленные наказания через принуждение к совершенно никому не нужным хозяйственным работам: *«Если ты не будешь как бы на ее стороне (начальницы), то ты будешь постоянно*

¹⁷ Заключенные могут объединяться с другими заключенными для совместной организации быта, но прежде всего питания и защиты интересов, создавая неформальную «семью», или «семеюку». Обычно, когда «семейничают», люди делятся между собой продуктами питания (посылки с воли), вместе пьют чай, готовят еду, помимо этого, просто поддерживают друг друга. В «семеюке» может быть от двух до пяти человек.



не знаю где внизу, т.е. будешь бегать на все хозработы, будешь кружками лужи с плаца собирать... из черного снега делать белый снег, из черного снега делать белый снег, хоронить снег...» [см. Omelchenko, Garifzyanova, Pallot, 2024].

Вместе со стремлением получить более насыщенный рассказ о режиме мордовской колонии заметно проявилась искренняя демонстрация разделенности и поддержки в понимании ее «нелегкой судьбы». Однако в другой части интервью эмпатия и участие, похоже, отказывают социологу.

В какой-то момент интервью Залина начала рассказывать, что после перемещения в чувашскую колонию, режим которой по сравнению с мордовской был мягче и «человечнее», она снова начала писать стихи.

«Инт.: У Вас высшее образование, Вы правильно разговариваете, Вы образованная, это как-то помогало или, наоборот, мешало в колонии?

Залина: ... В Мордовии, там тебя вообще как личность просто не видят, просто ты есть физическое тело. А вот в Чувашии, знаете, я вот с 16 лет стихи сочиняю... мне вот это помогало, я пока стою глажу, я сочиняю стихи...

Инт.: Выступали все-таки? А помните чего-нибудь?

Залина: Я помню только это, про наркотики (зачитывает стихотворение).

Их много у меня, море... Я на каждой проверке успевала по два стихотворения написать...

Инт.: А что это значит — проверка, стоишь просто, что ли?

Залина: Еще там еще про небо: «А небо-то здесь какое — белое, серое, голубое. Я и дома хочу такое, только без негатива, очень-очень много позитива. Девочки, на небо взгляните, красоту прицените...»

Инт.: А скажите, пожалуйста, вот к вам никто не приезжал?»

В приведенном отрывке можно заметить отсутствие интереса к творчеству Залины. Исследовательница постоянно возвращает разговор к условиям проживания в обеих колониях, направляя беседу к основным задачам проекта. Вероятно, мы преувеличиваем значимость этой части (излишняя самооценка), однако в сравнении с повышенной эмоциональной включенностью в обсуждения тюремного унижения и насилия различия все же заметны. Один из принципов проведения сложных и эмоционально нагруженных интервью заключается в следующем. Изучая маргинализованные, исключенные группы, важно видеть человека, в доступной форме проявлять интерес к личности, не сводить беседу исключительно к его/ее принадлежности (группе, классу, субкультуре, заболеванию и пр.), не пренебрегать другими сюжетами, пусть и не напрямую связанным с задачами проекта. Но одно дело декларировать принципы, другое дело — придерживаться их.

Отстраненность и постоянное эмоциональное напряжение

Арина, 34 года, марийка, срок семь лет за грабеж в сговоре, у нее это не первый срок (всего три или четыре). Ее нарратив пронизан алкогольной зависимостью не только ее самой, но и всего ее окружения, включая семью. Она — мать двоих девочек, лишена родительских прав, девочек удочерила другая семья. Детство и юность провела в интернате, мать Арины посадили. Родила первую дочь в 16 лет. Первый срок был 4,5 года в колонии-поселении, за нарушение перевели в женскую колонию, где были тяжелые условия («Женская колония, строгий режим. Там прям заходишь и написано „Добро пожаловать в ад“»). В целом, вся жизнь информантки связана с алкоголем, грабежами, мошенничеством и тюрьмой: «Мама сидела, и отчим сидевший, мужья сидели, как и я сама...». Интервью взято в феврале 2021.

Первый срок Арина отбывала в Пермском крае, в колонии, где сидела известная активистка. Сказала, что благодаря ее жалобам стали очень хорошо кормить. Судьба информантки по-настоящему трагическая. Она постоянно пила, переходила из одного дома в другой, убегала от полиции, получала новые сроки. Потеряла родительские права на детей. Все сожители издевались и били ее с тяжелыми последствиями (переломы, ушибы, кровотечения). В колонии ей никто с воли не помогал. Семейничала. Скорее всего, была «помогалкой». Усиленно подчеркивала свою гетеросексуальность, говорила, что с «такими, кто жил с женщиной», чай вместе не пили. При этом часто восхищалась красивыми осужденными и описывала их достаточно сексуализированно. В исправцентре семейничала с четырьмя женщинами разных национальностей. Ее рассказ сопровождался подробными описаниями всех ее встреч, алкогольных походов, грабежей и побегов, предательств и побоев со стороны меняющихся сожителей. Требовались особое терпение и стойкость в поддержке беседы. Этические дилеммы как бы снимались выраженной отстраненностью интервьюера и нейтральной позицией в отношении «понятной и прозрачной» тюремной истории.

В дискуссию

Оттенки эмоциональной вовлеченности и напряжений, описанные в статье, не охватывают все разнообразие возможных этических конфликтов и тупиков, которые мы проживали в ходе проведения этого поля. Предлагаемые здесь варианты их преодоления — лишь небольшая часть нашего опыта. Мы не претендуем на какие-то открытия. Социологи — «тоже люди», и ситуации, связанные с дискомфортом, испытанием, тревогами, знакомы многим из нас, особенно когда речь идет о таких крайне чувствительных полях, как исследования тюрьмы и опыта заключенных. Переживаемые нами страхи, проговариваемые рефлексии в отношении профессиональной этики, личных симпатий и антипатий заслуживают отдельного внимания и могут быть рассмотрены в качестве не просто дополнения, а части этого непростого поля.



Мы продолжаем задавать себе вопросы. Чему нас учит этот опыт, можно ли быть такими требовательными к себе и коллегам? До каких пределов можно и стоит погружаться в сопутствующую атмосферу, в нашем случае — в место, пространство и время проведения исследования? Отчасти эти вопросы остаются открытыми для дискуссии. Обобщая наш опыт, можно сказать, что в подобных исследованиях, безусловно, важна командная работа исследователей и взаимная эмоциональная поддержка. В процессе исследования нас поддерживали бесконечные разговоры друг с другом, наша полевая «терапия». Мы тогда недооценивали или просто пропускали важные этические конфликты и тупики, которые стали очевидными в процессе ретроспективного анализа. Сейчас мы лучше понимаем их значение. В таких полях многое невозможно предугадать, к каким-то откровениям информантов мы явно не были готовы. Этический императив в нашем случае — шире и глубже, чем просто «не навреди». Это не только принципы, прописанные в этических кодексах. Это навыки самообладания и самоконтроля в ходе коммуникации, своего рода навигация беседы с учетом места, времени и жизненных историй информантов. Приведенные примеры этических дилемм касаются не только особенностей трудного поля. Они показывают, насколько уязвимыми оказываются исследователи, остаются сами собой, не всегда способными и готовыми оставить «за дверью» и скрыть свои чувства. Возвращаясь к историям наших информанток, мы не просто вспоминаем поле, преувеличиваем или героизируем нашу работу. Мы перезагружаем себя, переосмысливаем профессию, критически воспринимаем наши собственные ограничения. Оставим нерешенные вопросы на будущее. Высока вероятность того, что мы вернемся в это поле, причем не только в формате ретроспективного анализа прошлого.

Благодарности

Выражаем искреннюю благодарность профессору Джудит Паллот за долгие годы совместной работы, доверие и поддержку во время проведения исследования. Хотелось поблагодарить нашего проводника и помощника, который помогал в реабилитации заключенным и нашел время помочь нам. Он и его руководитель оказали колоссальную поддержку в организации этой части большого исследования. Мы безмерно благодарны нашим информанткам, которые поделились с нами своими историями. Мы не можем, согласно этике и договоренностям, написать их имена, но спустя пять лет продолжаем помнить и искренне говорим спасибо за помощь и доверие.

Литература / References

Гарифзянова А. Р. «Первое время мне трудно здесь было ...»: почему бывшим заключенным так сложно на свободе? // Социальная работа: теория, методы, практика. № 6. СПб.: «Семья». 2022. С. 32–43.

Garifzyanova A. R. (2022) "Pervoe vremya mne trudno zdes bylo ...": pochemu byvshim zaklyuchennym tak slozhno na svobode? ["At First It Was Difficult for Me Here...": Why Is It So Difficult for Former Prisoners to Be Free?]. In: *Socialnaya rabota: teoriya, metody, praktika* [Social Work: Theory, Methods, Practice]. No. 6. SPb.: "Semia". P. 32–43. (In Russ.)

Гарифзянова А. Р. Позиция антрополога при исследовании проблем ксенофобии // Антропологический форум. № 8. 2008. С. 36–42.

Garifzyanova A. R. (2008) The Position of An Anthropologist in the Study of Xenophobia Problems. *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 8. P. 36–42. (In Russ.)

Гудова Е. А. О «травме методом» и эмоциональной работе полевого исследователя // Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М). 2019. № 48. С. 58–62. EDN: EFPVAF

Gudova E. A. (2019) About "Trauma by Method" and the Emotional Work of a Field Researcher. *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling* (4M). No. 48. P. 58–62. (In Russ.)

Кузинер Е. Н. Исследование бездомности: методология, эмоциональная вовлеченность и место исследователя в сенситивных полях // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2024. Т. 16. № 2. С. 69–88. EDN: NGDUFQ DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.2.4>

Kuziner E. N. (2024). Research on Homelessness: Methodology, Emotional Involvement, and the Researcher's Place in Sensitive Fields. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 16. No. 2. P. 69–88. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.2.4> (In Russ.)

Лисовская И. В. Чем краснее, тем блатнее: властные миры женских колоний России и Казахстана // *Laboratorium. Журнал социальных исследований*. 2023. Т. 15. № 2. С. 27–56. DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2023-15-2-27-56>

Lisovskaya I. (2023). The "Rouge" Is Too Rogue: Power Worlds in Women's Penal Colonies of Russia and Kazakhstan. *Laboratorium. Zhurnal socialnyh issledovanij*. [Laboratorium: Russian Review of Social Research]. Vol. 15. No. 2. P. 27–56. DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2023-15-2-27-56> (In Russ.)

Омельченко Е. Л. Гендерное измерение женского заключения: любовь, торговля, эксплуатация // До и после тюрьмы: женские истории / Под ред. Омельченко Е. Л., Сабирова Г. А., Пэллот Дж., Гончарова Н. В., Нартова Н. А. СПб.: Алетейя, 2012. С. 478–488.

Omelchenko E. L. (2012) Gendernoe izmerenie zhenskogo zaklyucheniya: lyubov, trgovlya, ekspluatatsiya [The Gender Dimension of Women's Imprisonment: Love, Trade, Exploitation]. In: Omelchenko E. L., Sabirova G. A., Pallot J., Goncharova N. V., Nartova N. A. (eds.) *Do i posle tyurmy: zhenskie istorii* [Before and After Prison: Women's History]. SPb.: Aleteya. P. 478–488. (In Russ.)

Омельченко Е. Л. (2020) «Я ничем вам не помог...»: исследовательская рефлексия вслед неудачному интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. Т. 12. № 1. С. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5>

Omelchenko E. L. (2020) "I Didn't Help You in Any Way...": Research Reflection after an Unsuccessful Interview. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No. 1. P. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5> (In Russ.)

Омельченко Е. Л. Красные и черные: гендерное измерение структур различия и исключения в мужских колониях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19. № 2. С. 142–159.

Omelchenko E. L. (2016) Reds and Blacks: Differences and Exceptions of Geographical Dimensions in Male Colonies. *Zhurnal sociologii i socialnoj antropologii* [Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 19. No. 2. P. 142–159. (In Russ.)

Омельченко Е. Л., Гарифзянова А. Р. Быть и остаться мусульманином в тюрьме: от стратегий выживания — к агентности и сопротивлению // Мир России. 2026. No. 2. (В печати)

Omelchenko E. L., Garifzyanova A. R. (2026) To Be and to Remain a Muslim in Prison: from Survival Strategies to Agency and Resistance. *Mir Rossii* [World of Russia]. No. 2. (In press) (In Russ.)



Пинчук О. В. На границе ролей: ролевая двойственность и лиминальное знание в полевой этнографии // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 4. С. 33–55. EDN: NUPEGW DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2>

Pinchuk O.V. (2025) At the Boundary of Roles: Role Duality and Liminal Knowledge in Field Ethnography. *Interaksiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 17. No. 4. P. 33–55. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2> (In Russ.)

Саутина С. А. Исправительные центры в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации // Ведомости УИС. 2020. № 2. С. 37–44. EDN: SSQBES

Sautina S. A. (2020) Correctional Centers in the Penal System of the Russian Federation. *Vedomosti UIS* [Vedomosti of The Penal System]. No. 2. P. 37–44. (In Russ.)

Скибо Д. Опасности поля: перспектива исследователя // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 40–45.

Skibo D. (2021) Field Dangers: A Researcher's Perspective. *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 48. P. 40–45. (In Russ.) DOI: <http://dx.doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88>

Blackman Sh. (2007) "Hidden Ethnography": Crossing Emotional Borders in Qualitative Accounts of Young People's Lives. *Sociology*. Vol. 41. No. 4. P. 699–716. DOI: <https://doi.org/10.1177/0038038507078925>

Omelchenko E., Garifzyanova A., Pallot J. (2024) "Humiliation, Shame and Torment": Continuity and Change in the Statuses and Power Hierarchies in the Post-Soviet Prison System. *Incarceration*. Vol. 5. P. 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1177/26326663241257360>

Omelchenko E. L. (2016) "Distant" Wives and Prisoners in Russia: Care in the Careless State. *Community Development Journal*. Vol. 51. No. 4. P. 465–481. DOI: <https://doi.org/10.1093/cdj/bsw018>

Pilkington H., Omelchenko E., Garifzyanova A. (2010) *Russia's Skinheads: Exploring and Rethinking Subcultural Lives*. London: Routledge.

Pink S. (2015) *Doing Sensory Ethnography*. 2nd ed. London: SAGE/Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781446249383>

Сведения об авторах:

Омельченко Елена Леонидовна — доктор социологических наук, профессор, директор Центра молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** eomelchenko@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** 74361; **ORCID ID:** 0000-0002-5951-3682; **ResearcherID:** K-5885-2015.

Гарифзянова Альбина Раисовна — кандидат философских наук, доцент кафедры общей и этнической социологии, ИСФНиМК, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия. **E-mail:** ARGarifzyanova@kpfu.ru. **РИНЦ Author ID:** 295321; **ORCID ID:** 0000-0001-8399-8205; **ResearcherID:** O-3096-2016.

Статья поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.4



Another Time, Another Place, Another Us. A Retrospective Look at the Sensitivity of Prison Studies

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.5

Elena L. Omelchenko HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: eomelchenko@hse.ru

Albina R. Garifzianova Kazan Federal University, Kazan, Russia
E-mail: ARGarifzyanova@kpfu.ru

This article explores the sensitive aspects of communication between researchers and informants, using a retrospective analysis of data from the final phase of a project on the historical and geographical factors in contemporary prison systems that influence the identities and strategies of ethnic minority prisoners. Attention is paid to the ethical dilemmas and emotional tension encountered during interviews with women serving their sentences in one of Russia's correctional centers. A key element of the analysis is the emphasis on the place/space and time of fieldwork, which provide context for the study of inmates' prison histories and survival strategies. A retrospective analysis of selected interviews revealed several strategies for overcoming the emotional tension of these conversations: from condemnation to increased support, from neutralizing one's own emotions to full, sometimes inappropriate, engagement. These discussions are complemented by a critical look at the ethical dilemmas and impasses faced by sociologists in this highly complex field.

Keywords: prison studies; ethical dilemmas; emotional stress; research reflection

Authors Bio:

Elena L. Omelchenko — Doctor of Sociology, Professor, Director of the Center for Youth Studies, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** eomelchenko@hse.ru. **RSCI Author ID:** 74361; **ORCID ID:** 0000-0002-5951-3682; **ResearcherID:** K-5885-2015.

Albina R. Garifzianova — Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of General and Ethnic Sociology, Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications, Kazan Federal University, Kazan, Russia. **E-mail:** ARGarifzyanova@kpfu.ru. **RSCI Author ID:** 295321; **ORCID ID:** 0000-0001-8399-8205; **ResearcherID:** O-3096-2016.

Received: 13.02.2026

Accepted: 18.03.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.6
EDN: POYLTO

Этика вовлеченности: исследование действием и микрополитика производства знания в активистском проекте

Ссылка для цитирования:

Чернышева Л. А. Этика вовлеченности: исследование действием и микрополитика производства знания в активистском проекте // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 111–126. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.6> EDN: POYLTO

For citation:

Chernysheva L. A. (2026) The Ethics of Engagement: Action Research and the Micropolitics of Knowledge Production in a Grassroots Activist Project. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 111–126. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.6>



Чернышева Любовь Алексеевна

Социологический институт РАН —
филиал ФНИСЦ РАН,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: l.a.chernysheva@gmail.com

В статье рассматривается применение стратегии исследования действием (*action research*) на примере петербургского низового проекта «Общественный сад», возникшего в 2020 году. В отличие от классических методов, ориентированных на нейтральное наблюдение и невмешательство, *action research* предполагает, что знание рождается в практике и требует от исследователя активно участвовать в изменениях, чтобы открывать возможность познания социальных структур. В фокусе статьи этический аспект *action research*, главное напряжение которого — соотношение позиций исследовательницы и активистки. Рассматривая процесс исследования через оптику ассамбляжного подхода, автор анализирует три «машины» *action research* (мониторинг, концептуализация, совместное производство знания) и то, как в каждой из них выстраивается соотношение между ролями активистки и исследовательницы и с помощью каких средств удается поддерживать границу между ролями. Статья показывает, что не только поддержание границы, но и ее размывание может привести к продуктивному

коллективному теоретизированию, однако разделение необходимо для того, чтобы метод оставался в границах стратегии action research. Статья дополняет дискуссию о производстве знания и этических аспектах action research, демонстрируя, как выстраивается микрополитика этой исследовательской стратегии.

Ключевые слова: action research; городской активизм; исследование как ассамбляж; исследовательская этика; со-производство знания

Введение

Осенью 2020 года, участвуя в коллективной прогулке, посвященной городским растениям, я стала свидетельницей того, как создалась инициативная активистская группа. Одна из участниц прогулки предложила другим заниматься развитием пространства в Петроградском районе Петербурга: на тот момент территория представляла собой заросший пустырь, которому потенциально грозила застройка. Прямо на месте был создан чат, куда вступили несколько участников прогулки, — так появилась инициатива, впоследствии получившая название «Общественный сад» и существующая до сих пор.

Я решила воспользоваться возможностью проследить процесс зарождения и развития общественной инициативы непосредственно. В тот период у меня уже был опыт исследования низовых инициатив и активизма, но методологически я и мои коллеги опирались в основном на полуструктурированные интервью и анализ цифровых следов [Бедерсон и др., 2021]. К моменту исследования многие конфликты уже были завершены или поставлены на паузу, а интервью нередко проводились через годы после начала событий, поэтому даже восстановление хронологии не всегда было возможным, а рефлексия информантов о развилках кампаний лишь позволяла понять, как участники переосмысливают конфликт спустя время.

Возможность участвовать в работе инициативной группы «Общественного сада» виделась мне удачной альтернативой. В такой позиции я могла бы систематически наблюдать за динамикой внутри активистской команды и фиксировать, как кампания творится «здесь и сейчас» [Imray Papineau, 2024; McCurdy, Uldam, 2014]. Активисты далеко не всегда заинтересованы в том, чтобы «чужаки» изучали их [Tarlau, 2014], и поэтому участие в группе и занятие некоторой роли внутри может быть полезно для установления доверительных отношений. Однако подобное участие неизбежно ставит ряд этических вопросов, поскольку поле активизма, как высоко политизированное, очень сенситивно и требует зачастую отказа от формальных этических процедур, а также внимательного отношения к безопасности участников и рефлексии о роли исследователя в группе активистов [Gillan, Pickerill, 2012]. Позиции инсайдера и аутсайдера в таких полях всегда гибкие и ситуативные [Breen, 2007], а принцип невмешательства исследователя в активность группы не всегда четко определен [Rodgers, 2007; Imray Papineau,



2024]. Учитывая это, я все же сообщила участникам о своих намерениях исследовать работу группы и, получив их согласие, принялась за дело. Вскоре, однако, я обнаружила, что сама логика активистского поля в сочетании с моим персональным интересом к территории «Общественного сада», опытом в прикладных исследованиях городских пространств и стремлением реализовать право на город сделали относительно нейтральную исследовательскую роль невозможной.

Постепенно переосмысливая свои роли в проекте, я пришла к пониманию, что использую стратегию *action research*, или исследования действием, которая практически не представлена в публикациях на русском языке. В статье я подробно опишу эту стратегию, ее принципы, этические установки и конкретные воплощения. Но мой фокус будет направлен на напряжение между ролями активистки и исследовательницы в рамках этой стратегии. Переключение ролей — не просто неотъемлемая часть любого этнографического исследования, но и источник производства знания в поле [Пинчук, 2025]. Фокусируясь на этом переключении, я покажу, как размывание и разграничение ролей стали частью моего метода-сборки [Ло, 2015], то есть не просто набора технических процедур и методологии исследования, но перформативного процесса создания и воссоздания реальности и способа существования исследователя в социальной науке [Ло, 2015]. Для этого я задействую теоретический язык ассамбляжей, к которому я часто прибегаю для анализа: на этот раз он будет направлен на сам процесс познания, а не на объект.

Исследование как ассамбляж представляет собой динамическую сеть, объединяющую исследователей, изучаемые события, данные, методы и инструменты (в том числе кодировочные программы, анкетные листы и т. п.), теоретические модели и даже физическое пространство, в котором происходит сбор и анализ данных [Фох, Alldred, 2015]. В рамках такого изменчивого ассамбляжа функционируют исследовательские «машины» — конфигурации отношений, которые производят какие-либо эффекты (действия, значения или знание). Так, «машины» сбора данных или «машины» анализа [Фох, Alldred, 2015] перерабатывают беспорядок реальности [Ло, 2015], структурируют, переводят на язык науки и тем самым не только описывают, но и создают реальность, реализуя определенные микрополитики¹ [Фох, Alldred, 2015].

Развивая идею исследования как ассамбляжа, я уделяю внимание тому, какую роль в нем играет осмысление этики и критическая рефлексия по поводу позиции исследователя. Эта тема не раскрыта в других работах, связанных с ассамбляжным пониманием исследования [Masny, 2013; Фох, Alldred, 2015], несмотря на то, что критика — это тоже часть ассамбляжа, а не что-то существующее

¹ Фокс и Олдред, опираясь на тексты Делеза и Гваттари, называют микрополитикой перераспределение возможностей и ограничений в процессе исследования с помощью конкретных исследовательских методов, а также эффекты власти, возникающие из устройства исследовательского метода и из того, как он организует отношения между исследователем, данными, объектом исследования и инструментами. Иными словами, микрополитика позволяет определить, какие последствия производит метод: что он делает видимым, что упрощает, что исключает и кому дает контроль над интерпретацией.

вне него. Однако речь в данном случае будет идти не о моей рефлексивности в отношении исследовательского процесса, а о том, что Марта Кенни называет подотчетностью [Kenney, 2015]. Если рефлексивность фокусируется на самом исследователе («я» и та позиция, из которой я говорю и действую), то подотчетность рассматривает исследователя в отношениях с коллективом [Kenney, 2015] и миром, то есть со всеми элементами, вовлеченными в производство знания, включая методы, модели и теории, участников исследования, финансирование, отчеты, коллег, институциональные рамки и т. д. Поскольку мы не просто описываем реальность, а участвуем в ее создании [Ло, 2015], каждый методологический выбор является этическим и определяет, какую версию объекта стоит воплощать в жизнь. Иными словами, вместо вопроса: «Истинно ли это знание и достаточно ли оно отражает реальность?» — исследователю стоит задавать этические вопросы: «Хороша ли эта практика и это знание для вовлеченных субъектов? Какова моя ответственность за версию мира, которую я создаю своими методами?» [Kenney, 2015]. Понятие подотчетности, таким образом, позволяет отойти от вопроса о том, как сочетать максимальную точность репрезентации реальности и безопасность участников исследования [Allan, 2017], и вместо этого признать и продемонстрировать собственную «не-невинную» роль [Kenney, 2015] в производстве объекта изучения.

Рассмотрение подотчетности в рамках исследования «Общественного сада» находится в центре моего анализа: я покажу, как менялись отношения между позициями исследовательницы и активистки в ходе мой работы в проекте и какую роль различие этих позиций и осмысление научной этики играли в упорядочивании исследования низового активизма в формате action research. Я проанализирую свое участие в проекте «Общественный сад» с момента его появления в октябре 2020 года до февраля 2022 года, основываясь на многочисленных записях, которые изначально не велись как систематический дневник самонаблюдения или наблюдения за проектом, однако в итоге приобрели ряд ключевых характеристик такого источника. Речь идет о хронологически выстроенных, датированных заметках разного типа — от конспектов встреч инициативной группы и рефлексивных записей, связанных с событиями вокруг «Общественного сада», до списков задач и технических пометок (всего около 30 записей). Дополнительным материалом для анализа послужили три аудиозаписи встреч инициативной группы «Общественного сада», а также четыре аудиозаписи совместной работы в рамках воркшопа «Лаборатория Actors of Urban Dialog», о котором подробнее будет сказано ниже (в совокупности около 10 часов аудиоматериала). Наконец, важным эмпирическим источником стали сообщения и фотоматериалы, размещенные в телеграм-чате проекта «Общественный сад», участницей которого я являлась с момента его создания. Транскрипты интервью и записи дневника подверглись процедуре открытого кодирования и были проанализированы с фокусом на роли, которые я исполняла в ходе работы над проектом. Эта статья является концептуальным переосмыслением эмпирического текста, опубликованного ранее [Чернышева, 2024].



Стратегия action research

Предпосылкой стратегии action research является то, что знание не существует вне социальных отношений и ценностных ориентаций исследователей [Brydon-Miller et al., 2003]. Вместо создания фасада объективности и ценностной нейтральности, исследование действием предлагает прямо и осознанно вовлекаться в проблемные социальные контексты и менять их [Reason, Bradbury, 2001]. Эта стратегия применяется для исследования и трансформации различных институтов, сообществ и пространств — больниц, центров помощи беженцам, поселков, школ [Pittaway et al., 2010; Löfman et al., 2004; Bournot-Trites, Belanger, 2018], при этом понимание и проектирование социальных изменений осуществляется изнутри конкретных практических ситуаций и в сотрудничестве с теми, кто непосредственно вовлечен [Wadsworth, 2005; Reason, Bradbury, 2001], — жителями, активистами, учениками, пациентами, сотрудниками и т. д.

При всей своей ориентированности на практическое действие стратегия action research не отказывается от задачи производства академического знания, однако постулирует, что это знание может быть получено только через умышленное изменение объекта [Adelman, 1993]. Фокус на изменениях — конфликтах, поломках, инновациях, иными словами, нарушениях привычного порядка — всегда был удачным методологическим ходом для познания мира, однако в рамках action research роль исследователя не ограничивается фиксацией подобных сбоев. В отличие от критических подходов, сосредоточенных на разоблачении структур, в action research исследователь выступает соучастником трансформаций, а действия, изменения становятся конститутивной частью исследовательского процесса [Wadsworth, 2005].

Ядром action research выступает непрерывное переключение практического вмешательства и аналитической рефлексии о его последствиях. На практике это чаще всего означает чередование двух фаз: исследовательской (в рамках которой происходит совместное формулирование и уточнение исследовательского вопроса, сбор данных и презентация результатов) и активной (запуск изменений). Затем наступает снова фаза исследования, позволяющая зафиксировать интерпретации, оценки и эффекты изменений и снова скорректировать курс.

Несмотря на общность базовых принципов, эмпирические исследования, реализованные в рамках action research, демонстрируют значительное разнообразие форм взаимодействия с сообществами и способов решения актуальных для них проблем. Эти различия проявляются, прежде всего, в степени и формах участия сообщества в исследовательском процессе [Banks et al., 2013], в характере и динамике властных отношений между исследователями и участниками [Henkel, Stirrat, 2001; Schurr, Segebart, 2012], а также в выборе инструментов организации коллективной работы и методов сбора данных [Kindon et al., 2007]. Среди таких инструментов ключевым является партисипаторный воркшоп, в рамках которого происходит перенастройка стратегий исследования и действия [Martínez, 2024]. Таким образом, action research — это не конкретный метод, но стратегия, которая координирует использование множества техник и в целом отвечает представленным выше принципам.

Этика и микрополитика action research

Среди этических вопросов, связанных с action research, центральным является соотношение ролей активиста/практика и исследователя. С одной стороны, в action research у исследователя появляются новые нетипичные задачи. Партиципаторная организация исследования предполагает, что общество обладает достаточным знанием и способностью самостоятельно ставить и решать задачи по достижению общего блага [Brydon-Miller et al., 2003], а на плечи исследователя ложится организация и фасилитация процессов групповой работы, анализ и теоретизирование [Wadsworth, 2005]. С другой стороны, исследователь участвует в действии, в том числе может реализовывать пространственные изменения, определять правила работы институтов, а также участвовать в протестах, судебных процессах, медиакампаниях и т. п. [Martínez, 2024].

Хотя подобный формат работы ценен с точки зрения возможности соединить теорию и практику и преодолеть эпистемологический разрыв между ними, одновременно он ведет к возникновению дилеммы относительно ролей исследователя вследствие необходимости «служить двум господам» [Davison et al., 2022] — академическому миру и сообществу, с которым идет работа. Практики action research считают, что необходимо поддерживать четкую границу между профессиональным исследователем (аутсайдером) и членами сообщества/активистами (инсайдерами). Во-первых, это позволяет уменьшить риск ролевого заражения (role contamination), когда личные обязательства исследователя перед группой могут поставить под угрозу независимость анализа [Davison et al., 2022]. Во-вторых, знание в action research рождается в ходе столкновения локального знания инсайдеров и профессионального знания исследователей. Если исследователь полностью сливается с группой, необходимое напряжение исчезает. Наконец, возникает риск доминирования в группе за счет авторитетной исследовательской позиции или принуждения к участию членов сообщества за счет уже существовавших до исследования отношений [Löfman et al., 2004]. В итоге исследователи и инсайдеры должны быть равны, но *различны*.

Необходимость поддержания границы отличает action research от иных типов исследования, в частности от милитантного (активистского) исследования, где ученые полностью сливаются с политической организацией, которую изучают [Martínez, 2024]. Активное участие со стороны исследователя в этом случае не просто возможно, но даже этически обязательно, ведь даже самое радикальное исследование не заменяет собой само действие [Tarlau, 2014]. Исследователь должен осознать свой социально-политический долг перед участниками, поскольку они принимают на себя серьезные риски, делясь своими историями [Allan, 2017], и отблагодарить их, внося активный вклад в борьбу². Подобные различия влияют и на форматы работы: в то время как

² Однако подобная благодарность также проблематична, поскольку она не устраняет проблемы объективации исследуемой группы и даже способствует продвижению академических карьер — в академии сегодня связи с социальными движениями могут создавать престиж для исследователя [Gillan, Pickerill, 2012].



милитантные исследователи анализируют структуры власти, доступа к которым у самих активистов нет [Tarlau, 2014], или участвуют в лоббировании, протестах и т. п., в рамках action research основной акцент делается на организацию переговоров, где исследователь выступает как модератор или же проводит исследование, позволяющее осуществлять мониторинг ситуации до и после изменения (действия).

Таким образом, соотношение между ролями исследователя и активиста выходит за рамки организационного вопроса и становится важным элементом исследовательского ассамбляжа, компонентом, определяющим саму архитектуру исследования, способы сбора, анализа данных, а также микрополитику исследования — переустройство общества и борьбу с системным угнетением (милитантное исследование) или умеренный реформизм, перестройку работы институтов и пространств для достижения блага участников (action research).

Напряжение между ролями требует постоянного этического контроля [Williamson, Prosser, 2002]. Следуя логике подотчетности, далее я представлю, какие «инструменты» — материально-дискурсивные аппараты [Kenney, 2015] — я задействовала для поддержания границы между ролями и какое в конечном счете они оказали влияние на архитектуру исследования «Общественного сада».

«Машина мониторинга» action research

Разворачивая свою деятельность, команда «Общественного сада» во многом опиралась на траектории, характерные для других городских объединений, связанных с защитой не всегда очевидно ценных мест и объектов [Чернышева, Хохлова, 2021]. Ключевой задачей стало выявление ценности заросшей и маргинализованной территории и превращение ее из пустыря в узнаваемую точку городского пространства. Оформились два взаимодополняющих направления: исследование исторических слоев территории и анализ ее социальной жизни в настоящем времени.

Историческое исследование носило во многом неформальный характер и привлекло как специалистов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), так и горожан, интересующихся локальной историей. По мере появления новых фактов корректировалась логика кампании: так, обнаружение сведений о существовавшей на этой территории в XIX веке лютеранской церкви стало основанием для выстраивания сотрудничества с представителями лютеранской общины Санкт-Петербурга и проведения ряда совместных тематических мероприятий.

Параллельно развивалось второе, более структурированное направление, в котором я принимала участие. Оно опиралось на профессиональный опыт участников «Общественного сада», неоднократно работавших в урбанистических проектах, где предпроектное изучение социальной динамики пространства является стандартной практикой. Для реализации этого направления

в проект привлекли студентов СПбГУ: совместно мы разработали исследовательский план и провели серию наблюдений и интервью с местными жителями весной и осенью 2021 года. Это исследование зафиксировало представления жителей о территории, а также разнообразие практик ее использования, что стало отправной точкой для работы других участников команды — архитекторов, которые, также вовлекая студентов, начали разрабатывать различные сценарии преобразования пространства.

Следующим шагом стало наблюдение за тем, как территория меняется после серии интервенций и выстраивания связей с различными стейкхолдерами, заинтересованными сторонами и местными жителями. Уже через год после старта инициативы можно было говорить, что «Общественный сад» действительно появился на символической карте города: о проекте писали СМИ, его участники получали приглашения на конференции городских озеленителей и экопрактиков, активистские фестивали, выступали в городских библиотеках. Все эти изменения мы также зафиксировали в ходе второго этапа картирования территории.

Такой тип action research можно назвать «машиной мониторинга», или «машиной служебного исследования», которое выполняло во многом вспомогательную функцию: работа с историческими источниками обеспечивала материал для построения нарратива об «Общественном саде», а анализ социальной жизни позволял фиксировать эффекты вмешательства. Центральный элемент такой «машины» — четкое разделение ролей исследователя и активиста, которого я добились специфической пространственной, временной и материальной организацией исследовательского процесса. Это сформировало у членов команды отношение ко мне как к исследовательнице. Вместе с небольшой группой социологов мы работали над тем, чтобы спланировать и провести систематическое двухфазное исследование территории, результаты которого были ориентированы на культурное программирование и архитектурную трансформацию пространства. Мы задействовали исследовательские технические средства для анализа (диктофоны, карты, транскрипты, отчет и т. п.) и исследовательские институты и пространства (студенческую практику, семинары, здание университета). Я вела рефлексивные дневники и заметки о работе в группе, а также играла роль модератора встреч, стремясь преобразовать идеи участников в дизайн исследования и последующих интервенций.

«Машина концептуализации» в action research

На уровне повседневных практик участники проекта постепенно присваивали территорию как *свое* пространство, не принимая во внимание ее формальный статус — частной собственности. Это символическое присвоение находило отражение и в языке внутренней коммуникации: как писала в чате одна из участниц, *«с удовольствием посажу свой куст в вашем (могу уже сказать нашем? или еще рано?) саду!»*. Одновременно с этим проект выстраивался



как альтернатива логике коммодификации городского пространства, делая ставку на открытость территории и понимание ее как общего блага.

Именно это противоречие между юридическим статусом земли и практиками коллективного пользования побудило меня рассматривать инициативу через понятие городской совместности (*urban commons*) — тема была мне знакома задолго до описываемых событий. В обобщенном виде городские совместности можно определить как форму организации городского сообщества, основанную на коллективной, некоммерческой заботе о ресурсах в общественных интересах [Kip et al., 2015]. Инициатива «Общественный сад» вполне соответствовала этому определению. Однако понятие совместностей — это также и утопическое воображение, нормативная модель организации совместной городской жизни, предлагающая альтернативу существующим социальным порядкам [Hardt, Negri, 2009]. Через это понятие я представляла себе возможные принципы организации проекта уже на раннем его этапе. Так, в телеграм-чате «Общественного сада», в сообщении, написанном в формате знакомства (расскажите о себе), я продолжила фразу: «Пустырь в будущем — это...», — следующим образом: «...это городская совместность, или *urban commons*. Это значит, что речь не просто про пространство, а про пространство и людей, которые о нем заботятся — горизонтально и кооперативно». В ходе обсуждений, связанных с работой инициативной группы, модерацией и планированием действий я последовательно предлагала обращаться к принципам, сформулированным Элиной Остром [Остром, 2010], как ориентирам для устойчивого управления общими ресурсами. Подобная интервенция в итоге оказала значительное влияние на группу: вскоре стало видно, что инициатива «Общественный сад» все чаще осмысливается и представляется участниками именно через категорию городских совместностей и связанные с ней принципы.

Городские совместности стали в этом случае примером фокальной теории (*focal theory*), которая служит основой для планирования и реализации изменений [Davison et al., 2022]. Благодаря ей фокус исследования сместился к тому, чтобы отслеживать возможности и ограничения функционирования структуры городского самоуправления, основанного на принципах городских совместностей. При этом цели группы по-прежнему касались защиты территории от застройки и развития ее как городского публичного пространства.

Привнесение исследователем концептуального аппарата характерно для вовлеченных исследований: благодаря ему группы пересматривают свои стратегии и позиции для переговоров с государственными органами [Tarlau, 2014; Pittaway et al., 2010]. Однако именно практики *action research* обращают внимание на то, что привнесение концептуальных схем может привести к доминированию в группе, а избежать этого помогает разделение ролей.

На практике разделить роли исследователя, оперирующего концепцией совместностей, и активиста, который переносит утопическое воображение на практику, непросто: концептуальный язык пронизывает работу группы и становится незаметной инфраструктурой. Для поддержания границы ролей мне потребовались инструменты: академическая публикация [Chernysheva,

Sezneva, 2020] и перевод книги о городских совместностях, ориентированной на активистскую аудиторию [Делленбо-Лоссе и др., 2021], в работе над которой я участвовала. Эта книга была призвана создать пространство для самостоятельной работы с концепцией, для критики и развития идей без участия исследователя. После публикации на территории сада прошла презентация книги, в ходе которой также происходило обсуждение ограничений и применимости языка совместностей. Текст книги и обсуждения стали инструментами, позволяющими сделать концепцию видимой, и одновременно развести роли, сформировав «машину концептуализации» в исследовании действием.

«Машина совместного производства знания» в action research

Осенью 2021 года инициатива «Общественный сад» была включена в программу воркшопа «Лаборатория Actors of Urban Dialogue», посвященного подведению итогов десятилетия развития городской партисипации (соучастия) в России. В работе воркшопа приняли участие более 20 экспертов из разных российских городов, чья профессиональная деятельность была связана с партисипаторными практиками в сфере трансформации городских пространств. Часть организаторов воркшопа на протяжении нескольких лет до этого была непосредственно вовлечена в деятельность инициативной группы «Общественного сада».

В рамках воркшопа участники сопоставляли «Общественный сад» с привычными им проектами вовлечения горожан. Звучавшая в первый день обсуждения критика «Общественного сада» носила жесткий характер. Участникам воркшопа было *«непонятно, кто такая инициативная группа и в каком плане право управления они имеют [...], на каком основании [работают]?»*. Тем самым под сомнение был поставлен сам статус группы горожан как легитимного инициатора изменений. Критике подверглись и форматы работы инициативной группы, воспринимаемые как конфликтные интервенции: *«Выбрали самые конфликтные места заведомо под окнами людей [для проведения мероприятия]. Вы потенциально знали, что какой-то конфликт будет»*. Правовая перспектива проекта вызвала сомнения: *«То есть то, что вы делаете, это на самом деле незаконно»*. Особое непонимание вызвала концепция минимального вмешательства, сохранения биоразнообразия и утверждения ценности пустыря как такового. Подобная критическая реакция во многом обусловлена сформировавшимся за предыдущее десятилетие каноном партисипаторных практик: изначальное методологическое разнообразие соучастия постепенно было вытеснено унификацией подходов³, а сама практика «заинсталлировал[а]

³ Унификация связана с появлением золотого стандарта партисипации, применяемого командами, участвующими в конкурсах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Его основу составляет методология пионеров партисипаторной работы в России — «Проектной группы 8», закрепленная в «Стандарте работы с жителями при благоустройстве городов» (разработан АСИ и Минстроем в 2020 году) и в форме ГОСТа (2023).



сь в систему вертикали, в систему бюрократии»⁴ и превратилась в «патернализм под прикрытием», создав условия для манипуляции горожанами.

Критика также стала сигналом к переосмыслению моих ролей в рамках проекта. Стало понятно, что различение исследовательницы и активистки требовало постоянной работы, которую я не всегда осуществляла. Например, поддавшись ситуации, я исполняла роль активистки и не контролировала разнообразие участников и включение некоторых групп и отдельных стейкхолдеров в проект для поиска коллективных решений, считая, что важно сфокусироваться на сторонниках, а не работать с интересами тех, кто настроен к проекту конфликтно. Команда все больше воспринимала меня как инсайдера. Систематичность написания заметок и дневника также хромала: я отдавала приоритет действию, то есть организации кампаний и мероприятий, а исследование постепенно уходило на второй план. Механизмы поддержания различения ролей работали все хуже.

Однако все это не привело к провалу action research, напротив, стало движком еще одной машины — «машины совместного производства знания». Обсуждая «Общественный сад», не выстроенный по правилам партисипации, на второй день воркшопа участники внезапно переосмыслили его как вдохновляющий эксперимент, позволяющий заново поставить вопрос о том, что такое соучастие и на каких основаниях оно может строиться: обязательно ли инициаторами и организаторами партисипаторных процессов должны выступать городские власти и в чем недостатки проектного, ограниченного во времени подхода к партисипации. «Общественный сад», по словам участников воркшопа, стал примером для выработки принципов «горизонтальной партисипации», «партисипаторной анархии», отказа от «партисипации как самоцели».

Воркшоп выступил частью «машины совместного производства знания», коммуникативной ареной, где происходит взаимное обучение участников, и потребовал возвращения к роли исследовательницы, став инструментом для четкого проведения границы и актуализации вопросов подотчетности: какую микрополитику реализует исследование «Общественного сада»? Какую роль может играть полученное знание в более широких процессах переосмысления партисипаторной практики? Парадоксальным образом предшествующий этап размывания ролей исследовательницы и активистки, отсутствие должной работы по поддержанию границы между ними стал значимым элементом в совместном теоретизировании внутри профессионального сообщества и инициативной группы «Общественного сада». Таким образом, нарушение этики на других этапах action research, выступившее предметом коллективной рефлексии, стало частью «машины», которая концептуально пересобирает работу инициативной группы, превращая участников в активных со-исследователей существующих методологий партисипации — практики, лежащей в основе самого проекта «Общественный сад».

⁴ «Соучаствующее проектирование» // Кто твой город. 2022. URL: <https://ktogorod.ru/sp> (дата обращения: 11.02.2026).

Заключение

Метод — это система, которая «обещает в той или иной степени быстро и безопасно довести нас до пункта назначения, то есть знаний о процессах, действующих в едином мире» [Ло, 2015: 28]. Стратегия action research является как раз таким стабильным и отрефлексированным способом получать знания, в том числе в исследованиях активизма — сложных полях, где этические вопросы занимают важное место [Gillan, Pickerill, 2012]. В таких полях исследование действием открывает возможности, недоступные другим стратегиям: это связано с принципиальным отказом от нейтральности и наблюдательной позиции исследователя.

Action research ярко иллюстрирует общий для социальных наук принцип: исследователь является создателем сборки, производящей знание, то есть с помощью своих методов создает реальность, а не только описывает ее [Ло, 2015]. Из этого вытекает необходимость как осмысления позиционности исследователя, то есть социального и эпистемического положения, из которого производится знание (гендер, класс, институциональная позиция, культурный опыт и т. п.) [Corlett, Mavin, 2018], так и признания ответственности за то, какое именно знание производится [Ло, 2015].

Эта статья — попытка принятия такой ответственности и подотчетности в исследовательской практике [Kenney, 2015]. В ней я проанализировала, как возникает и трансформируется исследование и какая не всегда видимая и рефлексивная работа необходима, чтобы поддерживать его в той или иной форме, в моем случае — в форме action research. Я представила свою попытку исследования низового активизма как ассамбляж, специально сконструированную арену для диалога и решения конкретных проблем, а также получения академически ценного знания. Это знание — продукт совместной работы нескольких механизмов, в которые встроены и исследователи, и активисты. Неотъемлемая часть такого ассамбляжа — определенный тип этики, которая требует избегать «заражения ролей» [Davison et al., 2022], то есть поддерживать границу между ролями исследовательницы и активистки.

Я рассмотрела несколько «машин» action research, в сборке которых участвовала в процессе исследования инициативной группы «Общественный сад»: «машину мониторинга» (служебного исследования), «машину концептуализации» и «машину совместного производства знания». Я показала, какую роль в работе каждой из них играет соотношение ролей исследовательницы и активистки и как именно преодолевается лиминальность поля — положение исследователя между вовлеченностью и дистанцированием [Пинчук, 2025]. Я показала, как пространственно-временная и материальная организация исследования, вовлеченные институции и технические средства, академическая практика превратились в инструменты, позволяющие стабилизировать, поддерживать границу и всегда действовать из конкретной роли.

Ассамбляжный подход и рассмотрение «машин» в рамках стратегии action research позволили увидеть ее разнообразие не только как набора инструментов [Martínez, 2024], но и как этической практики. Через анализ



соотношения ролей исследовательницы и активистки в этом тексте я показала, как выстраивается микрополитика исследовательских методов и стратегий [Fox, Alldred, 2015]. Этот текст, таким образом, является попыткой ответа на вопрос: как, учитывая политику метода, найти способ не «изъять себя из мира, а, скорее, [...] включиться» в него [Ло, 2015: 25].

Литература / References

Бедерсон В.Д. и др.. Города расходящихся улиц: траектории развития городских конфликтов в России / Под. ред. Тыкановой Е.В. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. EDN: YVNPJO DOI: <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-351-5.2021>

Bederson V.D. et al (2021) *Goroda raskhodyashchihsya ulic: traektorii razvitiya gorodskih konfliktov v Rossii* [Cities of Diverging Streets: Trajectories of Urban Conflicts Development in Russia]. Ed. by Tykhanova E.V. Moscow: FNISC RAN. DOI: <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-351-5.2021> (In Russ.)

Делленбо-Лоссе М., Циммерманн Н., де Врис Н. Городские совместности: книга рецептов: стратегии и идеи для создания и поддержания городских совместностей. СПб.: Проектная группа 8, 2021.

Dellenbaugh-Losse M., Zimmermann N., de Vries N. (2021) *Gorodskie sovместnosti: kniga receptov: strategii i idei dlya sozdaniya i podderzhaniya gorodskih sovместnostej* [Urban Commons Cookbook: Strategies and Ideas for Creating and Maintaining Urban Commons]. SPb.: Proectnay Gruppy 8. (In Russ.)

Ло Дж. После метода: Беспорядок и социальная наука. М.: Институт Гайдара, 2015.

Law J. (2015) *Posle metoda: Beporyadok i social'naya nauka* [After Method: Mess in Social Science Research]. Moscow: Instite Gaidara. (In Russ.)

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.: Мысль, 2010.

Ostrom E. (2010) *Upravlyaya obshchim: evolyuciya institutov kollektivnoj deyatel'nosti* [Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action]. Moscow: Mysl. (In Russ.)

Пинчук О.В. На границе ролей: ролевая двойственность и лиминальное знание в полевой этнографии // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 4. С. 33–55. EDN: NUPEGW DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2>

Pinchuk O.V. (2025) *Na granitse rolei: rolevaya dvoistvennost i liminalnoe znanie v polevoi etnografii* [At the Boundary of Roles: Role Duality and Liminal Knowledge in Field Ethnography]. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 17. No. 4. P. 33–55. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2> (In Russ.)

Чернышева Л.А. Между активизмом и исследованием: стратегия action research в проекте создания Общественного сада // Городские асимметрии: политики, практики и репрезентации / Отв. ред. Е.В. Тыканова. М.; СПб.: ФНИСЦ РАН, 2024. DOI: <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-434-5.2024>

Chernysheva L. A. (2024) *Mezhdu aktivizmom i issledovaniem: strategiya action research v proekte sozdaniya Obshchestvennogo sada* [Between Activism and Research: The Action Research Strategy in the Public Garden Project]. In: Tykanova E.V. (ed.) *Gorodskie asimmetrii: politiki, praktiki i reprezentatsii* [Urban Asymmetries: Politics, Practices, and Representations]. Moscow; SPb.: FNISC RAN. DOI: <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-434-5.2024> (In Russ.)

Чернышева Л.А., Хохлова А.М. Создавая ценность и аутентичность: городские конфликты вокруг исторических зданий // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19. № 2. С. 223–238.

- Chernysheva L. A., Khokhlova A. M. (2021) Creating Value and Authenticity: Urban Conflicts Around Historic Buildings. *Zhurnal issledovanií sotsialnoi politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 19. No. 2. P. 223–238. (In Russ.)
- Adelman C. (1993) Kurt Lewin and the Origins of Action Research. *Educational Action Research*. Vol. 1. No. 1. P. 7–24.
- Allan J. (2017) Activist Ethics: The Need for a Nuanced Approach to Resistance Studies Field Research. *Journal of Resistance Studies*. Vol. 3. No. 2. P. 89–121.
- Banks S., Armstrong A., Carter K., Graham H., Hayward P., Henry A., Holland T., Holmes C., Lee A., McNulty A., Moore N., Nayling N., Stokoe A., Strachan A. (2013) Everyday Ethics in Community-Based Participatory Research. *Contemporary Social Science*. Vol. 8. No. 3. P. 263–277.
- Bourot-Trites M., Belanger J. (2018) Ethical Dilemmas Facing Action Researchers. *Journal of Educational Thought / Revue de La Pensée Educative*. Vol. 39. No. 2. P. 197–216. DOI: <https://doi.org/10.55016/ojs/jet.v39i2.52622>
- Breen L. J. (2007) The Researcher “In the Middle”: Negotiating the Insider/Outsider Dichotomy. *The Australian Community Psychologist*. Vol. 19. No. 1. P. 163–174.
- Brydon-Miller M., Greenwood D., Maguire P. (2003) Why Action Research? *Action Research*. Vol. 1. № 1. P. 9–28.
- Chernysheva L., Sezneva O. (2020) Commoning Beyond “Commons”: The Case of the Russian “obshcheye”. *The Sociological Review*. Vol. 68. No. 2. P. 322–340.
- Corlett S., Mavin S. (2018) Reflexivity and Researcher Positionality. *The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications. P. 377–399.
- Davison R. M., Martinsons M. G., Wong L. H. M. (2022) The Ethics of Action Research Participation. *Information Systems Journal*. Vol. 32. No. 3. P. 573–594. DOI: <https://doi.org/10.1111/isj.12363>
- Fox N. J., Alldred P. (2015) New Materialist Social Inquiry: Designs, Methods and the Research-Assemblage. *International Journal of Social Research Methodology*. Vol. 18. No. 4. P. 399–414. DOI: <https://doi.org/10.1080/13645579.2014.921458>
- Gillan K., Pickerill J. (2012) The Difficult and Hopeful Ethics of Research on, and with, Social Movements. *Social Movement Studies*. Vol. 11. No. 2. P. 133–143. DOI: <https://doi.org/10.1080/14742837.2012.664890>
- Hardt M., Negri A. (2009) *Commonwealth*. Harvard: Harvard University Press.
- Henkel H., Stirrat R. (2001) *Participation as Spiritual Duty: Empowerment as Secular Subjection*. Ed. by Cooke B., Kothari U. London: The New Tyranny. P. 168–184.
- Imray Papineau É. (2024) Dilemmas of the Activist-Researcher: Balancing Militant Ethnography, Security Culture, and Reflexive Ethics in Australia. *Qualitative Research*. Vol. 24. No. 3. P. 570–590. DOI: <https://doi.org/10.1177/14687941231176933>
- Kenney M. (2015) Counting, Accounting, and Accountability: Helen Verran’s Relational Empiricism. *Social Studies of Science*. Vol. 45. No. 5. P. 749–771. DOI: <https://doi.org/10.1177/0306312715607413>
- Kindon S., Pain R., Kesby M. (2007) Participatory Action Research Origins, Approaches and Methods. *Participatory Action Research Approaches and Methods. Connecting People, Participation and Place*. Abingdon: Routledge. P. 7–18.
- Kip M., Bieniok M., Dellenbaugh M., Muller A. K., Schwegmann M. (2015) Seizing the (Every) Day: Welcome to the Urban Commons! *Urban Commons: Moving Beyond State and Market*. Berlin: Birkhäuser. P. 9–26.
- Löfman P., Pelkonen M., Pietilä A. (2004) Ethical Issues in Participatory Action Research. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. Vol. 18. No. 3. P. 333–340. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00277.x>
- Martínez M. A. (2024) Activist Research as a Methodological Toolbox to Advance Public Sociology. *Sociology*. Vol. 58. No. 4. P. 832–850. DOI: <https://doi.org/10.1177/00380385231219207>
- Masny D. (2013) Rhizoanalytic Pathways in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*. Vol. 19. No. 5. P. 339–348.



McCurdy P., Uldam J. (2014) Connecting Participant Observation Positions: Toward a Reflexive Framework for Studying Social Movements. *Field Methods*. Vol. 26. No. 1. P. 40–55. DOI: <https://doi.org/10.1177/1525822X13500448>

Pittaway E., Bartolomei L., Hugan R. (2010) “Stop Stealing Our Stories”: The Ethics of Research with Vulnerable Groups. *Journal of Human Rights Practice*. Vol. 2. No. 2. P. 229–251. DOI: <https://doi.org/10.1093/jhuman/huq004>

Reason P., Bradbury H. (eds.). (2001) *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. London: Sage.

Rodgers D. (2007) Joining the Gang and Becoming a Broder: The Violence of Ethnography in Contemporary Nicaragua. *Bulletin of Latin American Research*. Vol. 26. No. 4. P. 444–461. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2007.00234.x>

Schurr C., Segebart D. (2012) Engaging with Feminist Postcolonial Concerns through Participatory Action Research and Intersectionality. *Geographica Helvetica*. Vol. 67. No. 3. P. 147–154. DOI: <https://doi.org/10.5194/gh-67-147-2012>

Tarlau R. (2014) “We Do Not Need Outsiders to Study Us”. Reflections on Activism and Social Movement Research. *Postcolonial Directions in Education*. Vol. 3. No. 1. P. 63–87.

Wadsworth Y. (2005) “Gouldner’s Child?” Some Reflections on Sociology and Participatory Action Research. *Journal of Sociology*. Vol. 41. No. 3. P. 267–284.

Williamson G. R., Prosser S. (2002) Action Research: Politics, Ethics and Participation. *Journal of Advanced Nursing*. Vol. 40. No. 5. P. 587–593. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02416.x>

Сведения об авторе:

Чернышева Любовь Алексеевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** l.a.chernysheva@gmail.com. **РИНЦ Author ID:** 761775; **ORCID ID:** 0000-0002-9107-8211; **ResearcherID:** E-5980-2018.

Статья поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.1.1

The Ethics of Engagement: Action Research and the Micropolitics of Knowledge Production in a Grassroots Activist Project

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.6

Liubov A. Chernysheva Sociological Institute of RAS — Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
E-mail: l.a.chernysheva@gmail.com

The article examines the action research strategy in the study of the grassroots project “Common Garden”, which emerged in 2020 in St. Petersburg (Russia). Unlike classical research methods oriented toward neutral observation and non-interference, action research assumes

that knowledge is generated in practice and requires the researcher to actively participate in processes of change in order to open up possibilities for understanding social structures. The article focuses on the ethical dimension of action research, in particular the central tension between the researcher and activist positions. Viewing the research process as an assemblage, the author analyzes three “machines” of action research to explore how each of them configures the relationship between the roles of activist and researcher, and what means are employed to sustain and maintain the boundary between these roles. The article demonstrates that not only maintaining but also blurring the boundary between roles can lead to productive collective theorizing; however, maintaining the boundary is necessary to keep the method within the limits of the action research strategy. The article contributes to discussions on knowledge production and the ethical dimensions of action research by illustrating the micropolitics through which this strategy is enacted.

Keywords: action research; urban activism; research as assemblage; research ethics; co-production of knowledge

Author Bio

Liubov A. Chernysheva — Candidate of Sociology, Senior Research Fellow, Sociological Institute of RAS — Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** l.a.chernysheva@gmail.com. **RSCI Author ID:** [761775](#); **ORCID ID:** [0000-0002-9107-8211](#); **ResearcherID:** [E-5980-2018](#).

Received: 13.02.2026

Accepted: 18.03.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.7
EDN: UWODCK

Informal Gender Discrimination in Male-dominated Industries: Hidden Barriers. A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia¹

Ссылка для цитирования:

Bulchenko N. V. Informal Gender Discrimination in Male-Dominated Industries: Hidden Barriers. A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 127–145. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.7> EDN: UWODCK

For citation:

Bulchenko N. V. (2026) Informal Gender Discrimination in Male-Dominated Industries: Hidden Barriers. A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 127–145. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.7>



Bulchenko Natalia Vasilievna

HSE University,
Moscow, Russia

E-mail: nbulchenko@hse.ru

This article uses a case study of the first and only female railway engineer in the large northern region of contemporary Russia to examine informal gender discrimination in male-dominated industries. Despite the abolition of legal prohibitions in 2021, women remain severely underrepresented in locomotive crews due to informal barriers. Four in-depth interviews were conducted during three years to identify eight categories of informal gender discrimination. The barriers include informational deficits, financial burdens, ‘male body standards’ and ‘male quotas’, gender stereotypes and sexist prejudices against women, the time barrier, harassment and the ‘self-fulfilling prophecy’. All of them have no biological foundations and are fully socially constructed. These types of informal gender discrimination are specific for the northern provinces of Russia; the barriers in Moscow and other regions may differ for economic and life background reasons. The study highlights the need for robust institutional policies to dismantle these hidden barriers and promote gender equality in male-dominated industries.

¹ This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.

Keywords: informal economic discrimination; gender discrimination in the labour market; list of professions prohibited for women in Russia; women in men's economic fields; women in railroad industry in Russia

Introduction

Many male-dominated industrial sectors (manufacturing, construction, energy, water supply, transportation) used to be legally or culturally off-limits to women until recent decades. Even after legal barriers have been removed, women may face informal discrimination in male-dominated fields [Begeny et al., 2020: 1]. Female professionals have their expertise and decisions questioned more often, which predicts higher burnout and lower intentions to stay [Williams et al., 2025: 5]. Women have uneven opportunities of career progression due to exclusion from social networking and the burden of domestic labour, which allows no overworking [Galea et al., 2019: 1221]. Female employees face microaggressions and harassment from male colleagues and customers on a daily basis and lack institutional protection measures against the belittling treatment [Foley, 2020: 1678]. All the above-mentioned issues produce an uncomfortable environment for women's employment; thus, informal barriers strengthen gender segregation in male-dominated industries.

The above-mentioned problem is highly relevant for Russia because of certain legal limitations for women's employment. The list of prohibited professions for women was reduced from 456 to 100 occupations in 2021, and more jobs in transportation and manufacturing are planned to be excluded from the list in 2027². In 2021, women were allowed to be employed as railway engineers, or train drivers, and their technical assistants. Despite the fact that the legal barrier has been eliminated, there is no mass influx of women into now-permitted professions in spite of financial attractiveness and social bonuses, including early retirement. Thus, the purpose of the case study is to investigate daily work of women in the locomotive crews and identify the informal discriminatory barriers, which do not allow women to become railway engineers.

The method of an explanatory case-study [Yin, 2003: 4] is chosen because of the unique respondent — the first and only female railway engineer in the large northern region of contemporary Russia. Welch et al. distinguish four methods of theorising from case-studies [Welch et al., 2011: 740]. Their typology of theorising includes positivist inductive theory-building and natural experiment, along with post-positivist interpretive sensemaking and contextualised explanation. "Thick description" is crucial for the interpretative frameworks [Stake, 1995: 39, 40] and standpoint theory [Smith, 1974: 12, Harding, 1986: 136]. Human intentionality and agency are conditioned by existing social structures [Welch et al., 2011: 748], and thus the contextualised explanation of the chosen case study should be built

² Pravitelstvo utverdilo Nacionalnuyu model celevykh uslovij vedeniya biznesa [The Government Has Approved a National Model of Targeted Business Conditions]. *Pravitelstvo Rossii* [The Russian Government]. URL: <http://government.ru/docs/57130/> (accessed: 11 January 2026).



on historical and socio-economic context of the economic gender segregation in blue-collar occupations and railway engineering in particular. “Typical cases” can reveal multi-layered social mechanisms and can serve as a pathway to explanatory reconstruction of “total society” [Qu, 2020: 465]. The case study of the only female railway engineer in a large region cannot be typical due to the uniqueness of the respondent’s status. Nevertheless, the contextual explanation of “how” and “why” [Yin, 2003: 9] her daily work routines in the locomotive crew prevent other women from employment allows to categorize the barriers prior to further research within the field.

The following dimensions of the case study are taken into account: the contexts of time (three years after eliminating the legal restrictions), location (Russian province) and socioeconomic conditions (gender inequality in the post-Soviet Russia with its high engagement of women into the labour market). The explanatory case-study allows us to reveal the social issue by integrating objective external contextualization with the subjective internal interpretations of the social agent.

Firstly, I will give the context of international and Russian legal barriers, their historical background and modern state, and the socioeconomic impact of legal and informal gender discrimination on the labour market. Next, I will describe the methodology of the case-study of a female railway engineer in Russia, who is a unique respondent within the circumstances of her profession, being the only woman in the locomotive crew in a large Russian region for three years after legal barriers have been cancelled. After that, I will introduce the results of the analysis of four in-depth interviews conducted over three years, containing eight categories of informal gender discrimination, which prevent women from entering the railway engineer profession nowadays.

The Socioeconomic Impact of Legal Barriers for Women in the Labour Market: Historical Background and Modern Context

Gender Discrimination in the Labour Market: Legal Barriers

Women’s increased participation in traditionally male-dominated professional fields is regarded as a step towards women’s empowerment and the achievement of gender equality. However, there are still many legal barriers for women’s employment in 86 countries over the world³, and women are not allowed to engage in specific occupations in at least 70 countries⁴.

The majority of developed countries currently follow the international anti-discrimination law and promote gender equality in the labour market. It is the result

³ Many Governments Take Steps to Improve Women’s Economic Inclusion, Although Legal Barriers Remain Widespread. *World Bank Press Release*. 2018. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/29/many-governments-take-steps-to-improve-womens-economic-inclusion-although-legal-barriers-remain-widespread> (accessed: 10 January 2026).

⁴ Social Institutions & Gender Index Dashboard. *OECD*. 2023. URL: <https://www.oecd.org/en/data/dashboards/social-institutions-gender-index.html> (accessed: 11 January 2026).

of the longstanding and ongoing evolution of international and national labour legislations aimed at reducing the exploitation of children in manufacturing industries through paternalistic protection of women's reproductive and children's health. Its final culmination was the achievement of workplace gender equality.

In 1935, the International Labour Organisation adopted the Underground Work (Women) Convention, prohibiting women's labour in mines⁵, which was the first international enactment on women's rights that protected women's reproductive health from harmful production factors in a patronizing way. The Convention lost its legal significance following the improvement of working conditions and the increased demand for women's labour during WWII. Nevertheless, some well-paid working professions in manufacturing industries are not available for women in at least 70 countries across the globe. Specifically, there are limitations in the construction industry in 37 countries, in the energy sector in 29 countries, in agriculture and farming in 27 countries, in water supply in 26 countries, and in transportation in 21 countries⁶. The legislation restricts a number of occupations for women in several post-Soviet countries as well, namely Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus, Ukraine, Turkmenistan, and Russia. As for Russia, the Order issued by the Ministry of Labour and Social Protection, which was revised in 2021, prohibits one hundred professions for women⁷.

History of Legal Barriers for Women in Russia

The Russian Federation has inherited the Soviet Union's complex background of social and legal policy of including and excluding women from the labour market. During the period of New Economic Policy (1922–1927), the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Labour Code of 1922 set certain limitations on women's labour to protect their reproductive health and maternity, and inter alia prohibited women's engagement in 'particularly heavy and harmful to health productions and underground work'⁸. This legal norm did not penalize women, but instead addressed the employers' policies [Bartenev, 2016: 38]. There was a further pronatalist turn in Joseph Stalin's social policy of the 1930-s with

⁵ C045 — Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45), Abrogated Convention — By decision of the International Labour Conference at its 112th Session. *International Labour Standards*. 2024. URL: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:7474451326179::NO::P12100_SHOW_TEXT:Y (accessed: 11 January 2026).

⁶ Many Governments Take Steps to Improve Women's Economic Inclusion, Although Legal Barriers Remain Widespread. *World Bank Press Release*. 2018. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/29/many-governments-take-steps-to-improve-womens-economic-inclusion-although-legal-barriers-remain-widespread> (accessed: 11 January 2026).

⁷ *Postanovlenie Pravitelstva RF ot 25 fevralia 2000 g. N 162 "Ob utverzhdenii perechnia tiazhelykh rabot i rabot s vrednymi ili opasnymi usloviiami truda, pri vypolnenii kotorykh zapreshchaetsia primenenie truda zhenshchin"* [Decree of the Government of the Russian Federation No. 162 dated February 25, 2000 "On Approval of the List of Heavy Work and Work with Harmful or Dangerous Working Conditions, During Which the Use of Women's Labor is Prohibited]. URL: <https://base.garant.ru/181761/> (accessed: 11 January 2026).

⁸ *Kodeks Zakonov o Trude RSFSR 1922 goda', prilozhenie iz uchebnogo posobiia I. Ia.Kiseleva "Trudovoe pravo Rossii"* (Moscow, 2001) [The RSFSR Labor Code Year 1922. Appendix from I. Ya.Kiselev's Textbook "Labor Law of Russia" (Moscow, 2001)]. URL: https://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm (accessed: 11 January 2026).



adopting paternalistic legislation on protecting maternity, namely a Resolution 'Concerning the Upcoming Initiatives of the Party for the Engagement of Women Workers and Peasants in Its Activities' adopted in 1929. It restricted women's employment in heavy industries, underground work and during night shifts, and was accompanied by a list of banned occupations⁹. The Second World War cancelled the Resolution de-facto, since male jobs had to be replaced by women en masse. Women were involved in all professions with no exceptions, including the most heavy and harmful ones. The list of prohibited professions was no longer in effect [Baskakova, 2023: 141].

Zinaida Troitskaya was the first woman in the USSR and in the world to become a train driver. She entered the profession in 1935 and was promoted to administer the Circle Moscow Railroad between 1936 and 1942. As a role model, she came up with an initiative of engaging women into railway engineering within the Stakhanov movement in 1936. Following her example, 312,000 women joined Soviet Railways as locomotive engineers, railway mechanics and trainmasters by 1939 [Khasbulatova, 2013: 52].

In the midst of the postwar demographic crisis, after mass urbanization and an increase in divorce rate, a new prohibition list consisting of 456 professions was adopted in 1978 in the Soviet Union¹⁰. With some minor amendments introduced in 1987 and 1990, the prohibition list was adopted in the above-mentioned post-Soviet states [Shabalina, 2024: 260]. The Order of the Ministry of Labour of the Russian Federation "On adopting the list of industries, jobs and positions with harmful and (or) dangerous working conditions, in which the use of women's labour is limited" was considerably modified in 2021¹¹. The list was reduced to one hundred occupations for 21 industries, including mining, metalworking, oil and gas production, shipping industry, aircraft and railway.

The modern trains and locomotives are no longer considered harmful or hazardous to drive, so women's reproductive health is no longer in danger.

⁹ *Kommunisticheskaia partiia Sovetskogo Soiuza v rezoliutsiiakh i resheniiakh sieezdov, konferentsii i plenumov TSK, 1898–1986: v 14 t. (Moscow, Politizdat, 4)* [The Communist Party of the Soviet Union in the Resolutions and Decisions of Congresses, Conferences, and Plenums of the Central Committee (1898–1986)]. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/425934-kommunisticheskaya-partiya-sovetskogo-soyuza-v-rezolyutsiyah-i-resheniyah-sezdov-konferentsiy-i-plenumov-tsk-1898-1986-t-14-1981-1984> (accessed: 11 January 2026).

¹⁰ *Goskomtrud SSSR ot 25 iulija 1978 goda N 240 Prezidium VTSSPS ot 25 iulija 1978 goda N P10–3 POSTANOVLENIE "Ob utverzhdenii spiska proizvodstv, professii i rabot s tiazhelymi i vrednymi usloviiami truda, na kotorykh zapreshchaetsia primenenie truda zhenshchin" (s izmeneniami na 22 oktjabria 1990 goda)* [On Approval of the List of Industries, Professions and Jobs with Harsh and Harmful Working Conditions Where the Use of Women's Labor is Prohibited (As Amended on October 22, 1990)]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9039453> (accessed: 11 January 2026).

¹¹ *Prikaz Ministerstva truda i sotsialnoi zashchity Rossiiskoi Federatsii ot 13 maia 2021 g. № 313n 'O vnesenii izmenenii v prikaz Ministerstva truda i sotsialnoi zashchity Rossiiskoi Federatsii ot 18 iulija 2019 g. № 512n "Ob utverzhdenii perechnia proizvodstv, rabot i dolzhnostei s vrednymi i (ili) opasnymi usloviiami truda, na kotorykh ogranichivaetsia primenenie truda zhenshchin"* [Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation No. 313n dated May 13, 2021 "On Amendments to Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation No. 512n dated July 18, 2019 "On Approval of the List of Industries, Jobs and Positions with Harmful and (or) Dangerous Working Conditions Where the Use of Women's Labor is Restricted"]. *Garant* [Garant]. URL: <https://base.garant.ru/401565920/> (accessed: 11 January 2026).

In the summer of 2020, the first woman in contemporary Russia received a diploma of locomotive engineer. In 2021, the first train driver assistant was employed in the city of Ufa in the Bashkir Region. In 2022, the first railway engineer started driving a train at the Moscow railroad. In the summer of 2022, the first long-distance train driver entered the Sverdlov railroad. In the spring of 2023, the female locomotive engineer was engaged in the first international route¹².

Currently, 378 women are employed by the Russian Railways as locomotive engineers and their assistants, including 293 in the Traction Directorate, 76 in the Central Directorate of motor-wagons rolling stock, and nine in the Directorate of High-Speed communication. This figure comprises 0,3% of all train drivers and their assistants in Russia¹³. To compare, there are 125,622 male train drivers and assistants employed by the Russian Railways [Shabalina, 2024: 260]. To become a railway engineer, one needs to go through six-months education to obtain the profession of the railway engineer assistant first. No additional technical education is required; school education is enough to start a train driver course. Training depots are located in Moscow, St. Petersburg, and Yekaterinburg, depending on the type of the train. Further, the employee needs to have at least one-year experience of working as a locomotive driver assistant. After that, the assistant can take a six-months or four-months education course to become a railway engineer, and spend several months practicing before the official appointment. During the first year, the railway engineer has to work with a more experienced colleague in the role of the assistant. Early retirement, vouchers to health resorts for the whole family, medical care, free train travel, child and maternity social benefits, the salary considerably higher than the median in the region, as well as the stable work for a state-owned company can be rather attractive for both male and female employees¹⁴.

Negative Social and Economic Impact of Legal Barriers on Women's Employment

Cancelling the list of professions prohibited for women is one of the key issues of the feminist agenda in Russia. It is important for women to achieve a complete cancellation of the list, because besides evident legal discrimination, it has a negative socio-economic impact.

Firstly, the list of prohibited professions blocks women's access to a number of educational institutions. It is impossible to be hired to a managerial position without working experience in some industries. Hence, women can neither obtain industry-specific education, nor get a promotion within the industry, which amplifies horizontal segregation and the gender pay gap.

¹² *Vpervye v istorii rossiiskikh zheleznykh dorog zhenshchina stala mashinistom mezhdunarodnogo passazhirskogo poezda, RZHD* [For the First Time in the History of Russian Railways, A Woman Became the Driver of an International Passenger Train]. *RZhd* [RZD (Russian Railroads) Official Website]. 2023. URL: <https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=283639> (accessed: 11 January 2026)

¹³ V RZHD zhenshchin tseniat [Russian Railways Values Women]. *Gudok* [Gudok]. 2025. URL: <https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1698142> (accessed: 11 January 2026).

¹⁴ Sotsialnaya podderzhka [Social Support]. *RZhd* [RZD (Russian Railroads) Official Website]. 2024. URL: <https://sr2023.rzd.ru/ru/social-aspect/social-personnel-policy/social-support> (accessed: 21 February 2026).



Secondly, women can still work in harmful industries on less-paid jobs, or be hired to a prohibited profession without an official employment. Thus, they receive the harm to health as men do, but they do not receive social benefits, such as additional payments for harmful working conditions, longer vacation, and early retirement with higher pensions.

Thirdly, the lack of competition can reduce the working qualifications of men and the quality of work performed. The influx of women into men's occupational fields can improve the quality of work through a more attentive approach to work, shaped by women's gender socialization, and through competition and meritocracy.

Fourth, the ban on certain professions for women in mono-resource towns is another factor in women's exclusion from the labour market and, as a result, the feminization of poverty [Christopherson et al., 2022: 12]. This, in turn, increases the risk of being subjected to domestic violence and involved into prostitution¹⁵.

Finally, the government and legislative discourse denies women's agency and contributes to the reinforcement of gender stereotypes, purposefully ousting women from the labour market and portraying them majorly in maternal roles. The new "National Strategy of Action for Women of the Russian Federation until 2030" declares engaging women into the labour market¹⁶. However, no specific measures have been implemented within the area of the labour market with a high potential of hiring women.

Informal Gender Discrimination in the Labour Market: Hidden Barriers

Both legal and informal barriers prevent women from succeeding in male-dominated fields. Informal barriers are difficult to detect and to measure, unlike gender pay gaps or other financial metrics. For example, a "sticky floor" [Yap, Konrad, 2009: 595], whereby women tend to remain in low-ranking positions and have to wait longer before promotion compared to their male counterparts. A 'broken rung' describes a challenge where men are significantly more likely to advance to senior roles, whereas women often encounter barriers at the initial stages of career progression. Specifically, for every 100 men in the United States, only 87 white women and 82 women of color are promoted to the next level¹⁷. Next, the "corporate pipeline" [Viviers, Mans-Kemp, 2017: 90] visually represents the progression of women and people of color within organisations from entry-level roles to managerial positions. Further, the types of informal discrimination which use various glass metaphors in their names, e.g. the glass ceiling effect,

¹⁵ *Prostitution and Violence against Women and Girls* (Geneva, World Health Organization). 2024. URL: <https://docs.un.org/en/A/HRC/56/48> (accessed: 11 January 2026).

¹⁶ *Rasporiazhenie Pravitelstva RF ot 29.12.2022 N 4356-r "Ob utverzhdanii Natsionalnoi strategii deistvii v interesakh zhenshchin na 2023–2030 gody"* [Decree of the Government of the Russian Federation No. 4356-r dated December 29, 2022 "On approval of the National Strategy of Action for Women for 2023–2030"]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436691/0ab1d11f34aa37bd186ca7948792439bf4b2d4c1/ (accessed: 11 January 2026).

¹⁷ *Women in the Workplace Report*. McKinsey. 2022. URL: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/diversity%20and%20inclusion/women%20in%20the%20workplace%202022/women-in-the-workplace-2022.pdf> (accessed: 11 January 2026).

is a gender imbalance in top management [Cotter et al., 2001: 656]. The glass walls effect indicates gender horizontal segregation [Miller et al., 1999: 224], precisely underrepresentation or overrepresentation of women in certain occupations. The glass cliff effect stands for the precarious nature of women's work in management [Ryan, Haslam, 2005: 81], while the glass elevator indicates higher positions occupied by men in stereotypically women fields.

When formal barriers are abolished, it is nevertheless difficult for women to enter the labour market. After the abolition of legal barriers for women, informal gender discriminatory barriers, including those specific for the industry, region and local culture persist to remain. Informal barriers mean situations, events, mechanisms, or phenomena that do not affect men's careers, but hinder women's careers, and thus men gain an advantage over women in the labour market. To identify informal barriers which prevent women from making careers in formerly prohibited professions, I use a case study of a female Russian railway engineer, or a train driver¹⁸. Four years after the removal of the ban on this profession for women, she is still the only railway engineer employed in the large northern region of Russia.

A Case Study of a Female Railway Engineer in Russia

Design

To identify informal gender barriers in the profession of a railway engineer, I chose a biographical method, namely an in-depth interview with a woman, who used to work as a train driver assistant for three years and became the train driver after. She has been working for the Railway in a large northern region since 2021. The interviewee is a unique respondent within the circumstances of her profession. She became the first train driver assistant in the large northern region and remained the only woman in the locomotive crew for three years. Now, she is the first woman to become a railway engineer in her region.

The interviewee is 38 years old. She is not married, and has no children. Four in-depth interviews were conducted (4th of April and 18th of April, 2023; 1st of July, 2024 and 3rd of May, 2025) within the span of three years. The interviewee took a job during the Covid crisis after a layoff at her previous job and after a long and fruitless job search. The respondent's emancipated views and her interest in the feminist agenda, because of which she has critically assessed the situations of everyday life at work through a gendered lens, have enriched the narrative interview greatly despite her subjectivity [Rozhdestvenskaya, 2012: 95]. In addition, the reliance on the standpoint theory or epistemology [Smith, 1974: 12; Harding, 1986: 136], according to which an individual's socio-political experience shapes her perspective, minimized the patriarchal distortions in the intersubjective knowledge derived from her interviews.

¹⁸ I use both "train driver" or "locomotive driver" (the American tradition) and "railway engineer" or "locomotive engineer" (the British tradition) for indicating the profession. These terms have the same meaning and are interchangeable.



To identify and classify informal gender discriminatory barriers or types of informal discrimination, the ‘categorization of meanings’ approach [Kvale, 1996: 195] was applied. The categories were outlined during the interview process and then identified, coded with colors, further labeled and finally categorized during the analysis of the interview transcript. Additionally, the narrative method of Fritz Schütze [Schütze, 1984: 19] was used. Since the purpose of the analysis is to typify specific discriminatory barriers for women in male working professions, the narrative analysis was applied as a secondary method to examine the informant’s career path.

According to Fritz Schütze’s typology of biographical processes [Schütze, 1984: 82], the presentation of the respondent’s life experience corresponds most of all to the biographical action scheme, or the biography as a strategy, which is centered on the self-made person and her rational and progressive movement towards the goal. The respondent’s career path is full of institutional obstacles at nearly every stage, full of meetings with “helpers” and “villains”, including fighting the system and defeating it. The interview begins with setting her next career goal, upon the achievement of which the next two years will be revised: *“That’s right, I will become a railway engineer. And what’s more, I have already been sent to receive education”*. Three years later, the interview is focused on the potential barriers that might be encountered in her newly acquired profession.

The biographical trajectory of the informant’s career can be schematized as follows: “A dismissal during the covid crisis; job search; applying for a job at the Russian Railways; registration and training for another job at the Employment Center; urgent selection for railway engineer assistant; medical examination and flight to Moscow; study and examinations; medical examination; rejection; second decision of the medical examination; employment as a railway engineer assistant; study for a railway engineer; and mastering a new profession of the railway engineer”.

Results

The Types of Informal Discrimination Against Women in the Male Working Professions

The twelve categories of informal barriers are described on the basis of the respondent’s three years employment as an assistant to locomotive engineer, and several more barriers have been added to these categories as the examples of the barriers experienced after her promotion. The uniqueness of the respondent’s status makes the purposeful sampling absolutely extreme, while the sensitivity of the field makes it hard to recruit more respondents. Another life background and specific local conditions may result in different barriers.

1. Informational deficits

To begin with, women can face an information barrier as there are no advertisements on employment opportunities for women, no gender marking in job titles, and no pictures of females in the railway uniforms in the ads. No specific PR-campaigns on informing women about new available professions

are held by Russian Railways. The interviewee reports that she was not offered the vacancy of a railway engineer assistant at the public employment service. Eventually, she learned about the job from her friend's post on a social network.

2. Financial burdens

The next group of informal barriers can be described as "financial barriers", particularly the costs of tuition, medical fees and the wage gap. There are three training centers of locomotive engineering in Russia, namely Moscow, St. Petersburg, and Yekaterinburg. In order to gain the new profession, the respondent had to prepay for the travel and accommodation in Moscow, where she was trained to drive the train models which shuttle in her region. This turned out to be a rather difficult undertaking for a single woman, who lost her job during the Covid pandemic. Additionally, the respondent had to pay partly for the advanced medical examination in a private hospital, though the examination is free for future railway employees. This happened because doctors were afraid to take responsibility for the first woman in their practice with her 'deviation from the norm', meaning the male standard of health indicators. She also had to fit her railway uniform at her own expense, which was quite expensive for her, because no small women's sizes are available in the company. The tuition is free and future train operators have a scholarship matching the minimum wage of the region of their origin, which is significantly smaller than those for Moscow locals. Hence, women who need this job most have fewer financial opportunities to get it.

It is also instructive to point out that being the only woman among thousands of locomotive engineers and their assistants, the respondent discovered that she had a 30% gender pay gap compared to her male colleagues.

At work, the respondent was faced with the fact that no men wanted to work with her during her partner's vacation. As a result, she lost part of her salary. Moreover, no similar positions were available for women in locomotive depots, which was the only alternative place of work available for train drivers. Traditionally, there was a glass door for women in traction maintenance depots, although the legal ban for hiring women had been lifted. This undoubtedly reinforced women's financial vulnerability in the occupation.

3. The "male body medical standards"

The third barrier, already mentioned above, was the 'male body standard' at the medical examination. The respondent says that doctors had prejudices against females, and thus asked her to provide her five years medical record, required a series of advanced medical tests, and finally refused to approve her candidacy for work. After all, the doctors had to allow her to be hired, but it is important to point out that this happened on orders from above.

4. "Male quotas"

The fourth type of informal gender discrimination can be referred to as "male quotas". Men were assisted by the tutors in order to pass the tests during the training, had help in the process of employment, and their minor mistakes



were ignored at work. The respondent revealed how a psychologist specifically instructed men during testing on how they felt and what character traits they were supposed to have. The psychologists also helped male applicants to solve attention tests, which are critically important in the train driver's assistant profession. The respondent mentions train engineers complaining about their male assistants' incompetence at work, which was usually overlooked.

5. Gender stereotypes and sexist prejudices against women

The fifth type of informal discrimination refers to prescriptive and descriptive gender stereotypes. Shifts started at 2 a.m., and the respondent was required to come to work at night in full make up. She tells about a training course for women, where female employees were instructed how to apply make-up and create the "babetta" hair style:

"I asked them if men had such training. I said, men don't need to apply make-up every time! (...) I am a person, I am not some kind of a doll, I will not turn myself into some kind of doll! I don't have that kind of job, I'm not even a conductor on passenger trains, I do not work with people, I work with the train. Yes, I do my rounds on the train. Yes, the passengers can see me, so what? I'm working at that moment. I'm not working with them; I'm still working with the train."

Descriptive gender stereotypes, or 'our internal stereotypes', as the informant notes, include night work schedules, long business trips, "dirty" work, which are 'not for women'.

"Women don't want to leave homes for long, considering the fact that some of their husbands did not behave very well in the past"

The barrier of sexism and prejudices against women is connected to being the only woman in a male team. It is the masculine and sexist barrier, which implies a hard psychological burden onto women. Women hardly would want to work in an uncomfortable male-dominated psychological environment:

"Since I am now in the thick of this team, then yes, many very dark sides have been revealed to me, sometimes really dark, which are not even worth talking about"

The interviewee talks about a great number of manifestations of sexism on behalf of men. Many do not want to work with her because she is a woman, despite the fact that working with her has a serious bonus in the form of being awarded a separate room in the hotel. They agree to work with non-competent men and with newcomers, but never with a woman. When the respondent used to work as an assistant to the railway engineer, male employees often asked the respondent's working partner why he did not ask her to have a vacation simultaneously with him, so that none of their colleagues would have to share a locomotive crew with her. The respondent also mentioned the "hepeating" [McClellan, 2018: 39] situations,

when she is not believed by her male colleagues to know the source of the train's malfunction. She is also afraid to 'let down all women' by making a mistake, because of the gender stereotype which says that all women are judged by one woman's mistake. In addition to male colleagues' everyday sexism, passengers can be rude and misogynistic as well, and railroad workers often shout 'a woman is driving'. The respondent describes an episode when a new trainee was hired to a locomotive engineer assistant position:

"...a new female trainee arrived. And she made a big fuss, just like I did back in the day. Nothing has changed. You see, for two years, apparently, they might have gotten used to me purely as a person, not to the fact I was a woman. Because when she arrived, they were after her. Everybody wanted to see her. Everybody asked me about her. I said, 'You scared the woman! How are you behaving!' I said, 'You're behaving like Bandar-logs, not like people!' 'Oh, we have an interest', they replied. I said, you are supposed to show your interest in a respectful way, not like this, not like you did to me back in the day. Even though I probably never would have thought of hiding. I went to the briefings, stood there with everyone else, and of course I was attacked. When I first came to do a practical course, you can't imagine how many times I heard that this is not a woman's profession, that women shouldn't come here — they actually said it to my face."

6. Harassment

Harassment in male-dominated settings is widely documented as a mechanism that produces and maintains gender inequality rather than a series of isolated interpersonal conflicts [O'Connor et al. 2021: 3]. Sex-based harassment is interpreted as status protection in a gender hierarchy: men harass those who blur gender boundaries or threaten male status. Sexual harassment is more prevalent in male-dominated workplaces and industries, with women in traditionally masculine jobs especially at risk. Harassment is viewed as an exclusionary gatekeeping tool [Zhu, Wang, 2023: 65] and can be simply dangerous for a woman trapped with a male colleague in a confined space of a train cabin. Women are particularly vulnerable in male-dominated blue-collar professions, where migrants, indigenous women or women from poorer regions are often employed¹⁹. There is no legal protection of women against harassment at the workplace in Russia [Miryasova, 2020: 200]. The respondent says men often touch her, and it is unpleasant and psychologically difficult to tolerate:

"...talking about cases of violation of my bodily autonomy... they did not just happen; poked me in the thigh with his finger at the clinic. Yeah, and it happens almost all the time. I mean, they don't poke each other, right, they don't hug each other? But they do that to me!"

¹⁹ About the Sexual Harassment Awareness Reporting Engagement (SHare) Campaign. *WorkSafe*. 2024. URL: <https://www.worksafe.wa.gov.au/about-sexual-harassment-awareness-reporting-engagement-share-campaign> (accessed: 11 January 2026).



7. The time barrier

The seventh type of informal discrimination, which belongs to the “pull down” group, is the time barrier. Feminist theorists argue that women are structurally alienated from their own time, expected to devote it to others at home and at work [Bryson, 2007: 106]. Even in highly egalitarian contexts, men report more agency over time, while women experience fragmented time and higher stress balancing work and care [Staub, Rafnsdóttir, 2019: 157]. Working in a locomotive crew demands considerable time costs, including long shifts, night shifts, and sometimes spontaneous scheduling of extra shifts. This kind of labor organisation makes it a barrier for family women. In addition, the time barrier unites several gender-specific dimensions.

First of all, it is the mandatory participation of the respondent in all public corporate events, since she is a unique employee because of her gender. In fact, it turns into a large amount of unpaid overtime. She complains about wasting the non-sustainable resource of her personal time:

“There’s a huge problem here, of course, when I’m called for a meeting urgently! And I have the only day off, for example. I have to drive there, sit there, and drive back home for at least three hours. (...) But I have to go anyway. Because I’m the only one, I am noticeable!”

Secondly, it is unpaid domestic labour, which traditionally falls on women. Russian families usually combine high female employment with strongly gendered divisions of unpaid work. Post-Soviet Russia shows multiple gender contracts beyond the Soviet ‘working mother’ model, including career-oriented woman, a housewife with a male breadwinner, and a sponsored woman, each implying distinct divisions of unpaid labor and power in the family [Ukhova, 2021: 3250; Savinskaya, 2024: 270]. In small-town “potential middle class” and manual-worker families, contracts are strongly traditional: housework and childcare are seen as “naturally” women’s responsibility, with little negotiation [Lipasova, 2017: 633]. In provincial towns, three fatherhood models dominate. These models are “absent”, “situational”, and “involved”, but even “involved” fathers often frame care as secondary to breadwinning and see routine domestic work as maternal duty [Lipasova, 2017: 640; Rebrey, 2023: 55]. The respondent admits that men have a huge advantage here, because the blue-collars are hardly involved in unpaid care and domestic labour and expect to receive full household services from their spouses within the local traditional gender contract. It is a male privilege to focus on productive work, not to get tired of unpaid work and not to carry the ‘mental burden’ of micromanaging household chores. The respondent complains that she has to manage her second shift on her own unlike her male colleagues, whose wives clean and iron their uniforms, prepare lunchboxes and provide the rest time for their partners.

“...when I’m called for a meeting after work hours, I keep saying to my managers: you should understand, my colleagues have a free maid called ‘wife’. (...) I don’t have such a bonus, I don’t have this privilege! I do everything by myself, I have

to cook for myself, do my own laundry, iron my own clothes, and do my own household chores. I believe that men, of course, have the greatest privileges of this kind, unlike us.

All the railway engineers I work with, they don't do much around the house, because "he's a railway engineer!" He has a very hard job, very demanding, with an early burnout. There's always a woman doing everything for him. (...) That is, his wife does everything, he only drives the train. He has no other problems in his life."

8. A self-fulfilling prophecy

The final category of informal gender discrimination, which summarizes all the previous ones, can be called a self-fulfilling prophecy [Merton, 1948: 193]. There are so many barriers for women in this field because there are very few female employees. As a result, it becomes a vicious circle, or a self-replicating system. The respondent made this point herself:

"I think that there must be some kind of recognition that women can also work in this profession. But this will occur only when there are at least 20–30 percent of women in the workforce. Even when my trainee starts her job in summer, well, if she does, the two of us will not change this situation either, we will not break it, we need (...) to have both female assistants and railway engineers. Therefore, of course, I will definitely study [for a railway engineer position]. (...) That is, when I will not be the only one there, but when there will be at least 10 or 20 percent of us ... then, perhaps, others will be more willing to go [the railway]."

When she was promoted to the position of a railway engineer after six-month studies in Moscow, the interviewee faced several more barriers, which add new categories to the ones mentioned above. First of all, there is a risk that no male assistant will want to choose her as a crew partner, and she will lose her salary because of the absence of working shifts. Moreover, since she is a manager now, the male assistants may not follow her instructions, because that would be shameful for them "to obey a woman". Next, there is a passengers' and common people bias against a woman driving a locomotive, and once more the respondent is afraid to fail and let down all women, because women are judged tougher than men. Though she realises that many of her male colleagues are not promoted to railway engineers because they do not want to or they are not competent enough, she admits that the new profession implies a huge responsibility for her, because hiring more women depends on her perfect job record.

To sum up, all of the above-mentioned barriers prevent women from entering the profession where legal barriers have been abolished. All the informal barriers can be eliminated "from above" by institutional measures, state legislation or the company's affirmative action. There are no biological barriers in the profession for women. As the respondent notes:



“An old train driver said to me just the other day: ‘a train driver’s assistant is a profession for women.’ (...) there are no difficulties really, at all. (...) When I started working, I weighed 46 kilograms. Well, physically, you can imagine that I am not the strongest woman in the world... a brake shoe weighs, well, seven kilograms. The maximum that it will be necessary to carry is three at a time and not for a long distance. Well, I think, 200 meters, no more. There are lightweight ones now, one and a half kilograms. Well, we don’t have these ones at our depot, but there are some at the stations where we sometimes park.”

Conclusion

As a result of the analysis of four in-depth interviews conducted within three years, eight categories of informal gender barriers, or types of informal discrimination in the male-dominated field of locomotive engineering in the Russian Railways company were identified. These include informational deficits, financial burdens, “male body standards” and “male quotas”, gender stereotypes and sexist prejudices against women, the time barrier, harassment and the “self-fulfilling prophecy”. The informal barriers are specific for the provinces of Russia; the barriers in Moscow and other regions may differ for economic and other reasons. All the barriers have no biological foundations and are fully socially constructed. Strong institutional measures are required to overcome informal barriers and to engage women back into locomotive crews.

The list of prohibited professions in Russia illustrates how difficult it is to cancel the ban on professions and to engage women in male-dominated fields again. It took about 40 years to overrule the formal prohibition and there is a need in structural social policies to eliminate informal barriers and to get women back into formerly prohibited jobs. After more than three years, the respondent is the only assistant to locomotive engineer in a large region. In addition, only four female railway engineer assistants were hired after 2023. Steinar Kvale notes the tendency, especially in feminist research, to use the knowledge gained from the interviews to bring social changes under study [Kvale, 1996: 245]. The article contributes to further research in formerly prohibited female professions in order to facilitate practical changes within the railway sector to remove informal discriminative barriers and bring more women into Russia’s locomotive crews for diversity and better performance.

Limitations

There used to be only 35 women in Russia’s locomotive crews in 2023, when the respondent was interviewed for the first time. One respondent is an absolutely extreme example of purposeful sampling, but can be enough to start investigation into the topic with no sociological research background, especially when possessing

unique features [Palinkas, 2015: 2]. The respondent is literally unique in the profession of locomotive engineer in the large northern region of Russia. Because of the small number of female railway engineers, these women are under a lot of scrutiny exerted by the management, media, and society. That is the reason why women are at risk to be dismissed or sued for slander because of not perfectly precise assertions, and it is hardly possible to find more female respondents, which makes it a sensitive field for a researcher. Moreover, other respondents' life backgrounds and local conditions may differ significantly, which can impact the results crucially.

There might be some other informal barriers at Moscow Railroads. There are plenty of vacancies for women in the labour market in the prosperous capital of Russia, as well as more women involved in railway driving. The eight informal barriers mentioned above refer to the Russian province, not the capital.

References

Bartenev D. (2016) Prohibited Professions for Women: A New Cause for the Dialogue between the Russian Constitutional Court and a UN Committee? *Mezhdunarodnoe pravosudie* [International Justice]. No. 3. P. 37–47. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.21128/2226-2059-2016-3-37-47>

Baskakova M. (2023) State Regulation of Women's Employment and Occupational Segregation in the Russian Labour Sphere — 100 Years of History (Part 1. 1918–1945). *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki* [Issues of Economic Theory]. No. 3. P. 127–146. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.52342/2587-7666VTE_2023_3_127_146

Begeny C.T. et al. (2020) In Some Professions, Women Have Become Well Represented, Yet Gender Bias Persists — Perpetuated by Those Who Think It Is Not Happening. *Science Advances*. Vol. 26. No. 6. P. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aba7814>

Bryson V. (2007) *Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates*. Bristol: The Polity Press. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgwcr>

Bugdaeva E. A. (2023) Household Time Allocation in Russia: Economic or Sociocultural Model? *Population and Economics*. Vol. 7. No. 3. P. 70–104. DOI: <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e101852>

Christopherson C. K. et al (2022) Tackling Legal Impediments to Women's Economic Empowerment. *IMF Working Papers*.

Cotter D. et al (2001) The Glass Ceiling Effect. *Social Forces*. Vol. 80. No. 2. P. 665–681. DOI: <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>

Foley M. et al (2022) "I'll Never Be One of the Boys": Gender Harassment of Women Working as Pilots and Automotive Tradespeople. *Gender, Work & Organization*. Vol. 29. No. 5. P. 1676–1691. DOI: <https://doi.org/10.1111/gwao.12443>

Galea N. et al (2020) The Gendered Dimensions of Informal Institutions in the Australian Construction Industry. *Gender Work Organ*. Vol. 27. P. 1214–1231. DOI: <https://doi.org/10.1111/gwao.12458>

Harding S. (1986) *The Science Question in Feminism*. Cornell University Press. Ithaca and London: Cornell University Press.

Khasbulatova O. A. (2004) The Movement of Female Social Workers in the 1930s as a Technology of State Policy for the Involvement of Housewives in Public Production. *Zhenshchina v rossijskom obshchestve* [Woman in Russian Society]. No. 33. P. 43–56. (In Russ.)

Kvale S. (2003) *Issledovatel'skoe intervyyu* [Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Moscow: Izdatelstvo Smysl. (In Russ.)

Lipasova A. (2017) Fatherhood in the Russian Provinces: A Theoretical and Empirical Analysis. *Zhurnal issledovanij socialnoj politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 15. No. 4. P. 629–642. DOI: <https://doi.org/10.17323/727-0634-2017-15-4-629-642>



McClellan E. et al (2018) The Social Consequences of Voice: An Examination of Voice Type and Gender on Status and Subsequent Leader Emergence. *Academy of Management Journal*. Vol. 61. No. 5. P. 1869–1891. DOI: <https://doi.org/10.5465/amj.2016.0148>

Merton R.K. (1948) The Self-Fulfilling Prophecy. *The Antioch Review*. Vol. 8. No. 2. P. 193–210.

Miller W., Kerr B., Reid M. (1999) A National Study of Gender-Based Occupational Segregation in Municipal Bureaucracies: Persistence of Glass Walls? *Public Administration Review*. Vol. 59. No. 3. P. 218–230. DOI: <https://doi.org/10.2307/3109950>

Miryasova O. (2020) Nasilie i domogatelstva v sfere truda v sovremennoj Rossii. Institucional'nyj vakuum kak predposylka dlya aktivizacii rabotnikov [Violence and Harassment in Modern Russia. Institutional Vacuum as a Prerequisite for the Activation of Employees]. In: Lutova N., Suleymanova F. (eds.) *Tipichnaya i netipichnaya zanyatost: perspektivy issledovanij i regulirovaniya (Pyatye Gusovskie chteniya): materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii* [Typical and Non-Typical Employment: Prospects of Research and Regulation (Fifth Gusov's Readings): Report at the International conference]. Moscow: RG-Press. (In Russ.)

O'Connor P. et al (2021) Organisational Characteristics That Facilitate Gender-Based Violence and Harassment in Higher Education? *Administrative Sciences*. Vol. 11. No. 4. P. 1–13. DOI: <https://doi.org/10.3390/admsci11040138>

Palinkas L.A. et al (2015) Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Adm Policy Ment Health*. Vol. 42. No. 5. P. 533–544. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

Qu J. (2020) Case Studies Towards the Analysis of Total Social Construction. *Chinese Journal of Sociology*. Vol. 6. No. 3. P. 457–493. DOI: <https://doi.org/10.1177/2057150x20942969>

Rebrey S.M. (2023) Involved Fatherhood in Russia. *Population and Economics*. Vol. 7. No. 3. P. 48–69. DOI: <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e107546>

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2012) *Biograficheskii metod v sociologii* [Biographical Method in Sociology]. Moscow: Izdatelskii dom VShE. (In Russ.)

Ryan M., Haslam S. (2005) The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions. *British Journal of Management*. Vol. 16. No. 2. P. 81–90. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2005.00433.xr>

Savinskaya O. (2024) The Diversification of the Russian Gender Contract and the Conservative Turn. *Europe-Asia Studies*. Vol. 76. No. 2. P. 265–283. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2323115>

Schütze F. (1984) Kognitive Figuren des Autobiographischen Stegreiferzählens. In: Kohli M., Robert G. (eds) *Biographie und Soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven*. Stuttgart: Metzler. P. 78–117.

Shabalina X.V. (2024) *Spiski zapreshchennykh professij dlya zhenshchin i ogranichenie prav zhenshchin na trud v gosudarstvah-chlenah EAES. Sozdanie ravnykh uslovij na dostup k trudu muzhchin i zhenshchin v ramkah EEAS. Pravovoe sotrudnichestvo gosudarstv v kontekste idei bolshogo evrazijskogo partnerstva*. [Lists of Prohibited Professions for Women and Restrictions of Women's Rights to Work in the Member States of the EAEU. Creating Equal Conditions for Access to Labor for Men and Women within the Framework of the EAEU. Legal Cooperation of States in the Context of the Idea of a Large Eurasian Partnership]. Ekaterinburg: Uralskij gosudarstvennyj juridicheskij universitet im. V.F. Yakovleva. (In Russ.)

Smith D. (1974) Women's Perspective as a Radical Critique of Sociology. *Sociological Inquiry*. Vol. 44. No. 1. P. 7–13.

Stake R.E. (1995) *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage.

Staub M., Rafnsdóttir G.L. (2019) Gender, Agency, and Time Use Among Doctorate Holders: The Case of Iceland. *Time and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 143–165. DOI: <https://doi.org/10.1177/0961463x19884481>

Ukhova D. (2021) Doing Gender with Class: Gender Division of Unpaid Work in Russian Middle-Class Dual Earner Heterosexual Households. *Journal of Family Issues*. Vol. 43. No. 12. P. 3244–3270. DOI: <https://doi.org/10.1177/0192513x211042846>

Viviers S., Mans-Kemp N. (2017) Board Gender Diversity and Corporate Citizenship Actions, Reporting and Reputation: A South African Perspective. *The Journal of Corporate Citizenship*. Vol. 66. P. 81–105. DOI: <https://doi.org/10.9774/TandF.4700.2017.ju.00006>

Welch C. et al (2011) Theorising from Case Studies: Towards a Pluralist Future for International Business Research. *Journal of International Business Studies*. Vol. 42. P. 740–762. DOI: <https://doi.org/10.1057/jibs.2010.55>

Williams M. J. et al (2025) Everyday Challenges to Women's Presence and Authority Yield Greater Burnout and Less Persistence in a Male-Dominated Profession. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol. 122. No. 20. P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2415826122>

Yap M., Konrad A. (2009) Gender and Racial Differentials in Promotions: Is There a Sticky Floor, a Mid-Level Bottleneck, or a Glass Ceiling? *Relations Industrielles / Industrial Relations*. Vol. 64. No. 4. P. 593–619.

Yin R. K. (2024) *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks: Sage.

Zhu Z., Wang Y. (2023) Unequal Opportunity Issues Faced by Asian Women in The Workplace: Literature Review. *Communications in Humanities Research*. Vol. 5. No. 1. P. 58–66. DOI: <https://doi.org/10.54254/2753-7064/5/20230042>

Author Bio:

Natalia V. Bulchenko — Master of Sociology, Graduate Student, Doctoral School of Sociology, Trainee-Researcher, International Laboratory for Social Integration Research, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** nbulchenko@hse.ru. **ORCID ID:** [0009-0008-4458-6900](https://orcid.org/0009-0008-4458-6900).

Received: 15.01.2026

Accepted: 18.03.2026



Неформальная гендерная дискриминация в мужских рабочих профессиях: скрытые барьеры. Кейс-стади помощницы машиниста электропоезда в России²⁰.

DOI: [10.19181/inter.2026.18.1.7](https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.7)

Булченко Наталья Васильевна *Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия*
E-mail: nbulchenko@hse.ru

Статья посвящена неформальной гендерной дискриминации в ранее запрещенных для женщин профессиях. Несмотря на исключение профессий помощницы машиниста и машинистки поезда из списка запрещенных профессий в 2021 году, женщины по-прежнему экстремально недопредставлены в локомотивных бригадах российских

²⁰ Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



железных дорог: трудоустройство женщин на эти должности составляет единичные случаи на фоне десятков тысяч мужчин. Целью объяснительного кейс-стади стало выявление неформальных барьеров, препятствующих массовому притоку женщин в профессии помощницы машиниста и машинистки электропоезда. Проведенные в течение трех лет четыре глубинных интервью о повседневности рабочих будней с уникальной респонденткой — единственной женщиной, работающей помощницей машиниста электропоезда в одном из регионов России — позволили определить восемь категорий неформальной гендерной дискриминации, включая дефицит информации о трудоустройстве, финансовые затраты и разрывы, «мужской» медицинский стандарт, «мужские квоты», гендерные стереотипы и сексистские предрассудки о женщинах, домогательства, потерю личного времени и «самоисполняющееся пророчество». Все неформальные барьеры не связаны с биологией женского пола; они социально сконструированы; для их устранения требуются институциональные меры. Неформальные экономические барьеры, выявленные в кейс-стади, специфичны для провинций современной России; барьеры в Москве могут отличаться по экономическим причинам. В статье также прослеживается историческое развитие международного и отечественного права в области трудовых запретов для женщин и обсуждается современное влияние легальных барьеров на женский рынок труда, в частности, ограничение доступа к образованию и целым секторам отраслей экономики, феминизация бедности и усиление гендерных стереотипов о слабости женщин и единственно приемлемой материнской роли для самореализации. Исследование подчеркивает необходимость эффективной институциональной политики для устранения скрытых барьеров и содействия гендерному равенству в отраслях, где доминируют мужчины.

Ключевые слова: неформальная экономическая дискриминация; гендерная дискриминация на рынке труда; список запрещенных для женщин профессий в России; женщины в мужских сферах труда; женщины на железных дорогах в России

Сведения об авторе:

Бульченко Наталья Васильевна — магистр социологии, аспирант Аспирантской школы по социологическим наукам, стажер-исследователь Международной лаборатории исследований социальной интеграции, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** nbulchenko@hse.ru. **ORCID ID:** 0009-0008-4458-6900.

Статья поступила в редакцию: 15.01.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

ВАК: 5.4.4.



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.8

EDN: VLJYFM

Сенситивность «знакомого» поля: схожесть опыта и границы объективности в биографическом интервью

Ссылка для цитирования:

Скороходова Н.Д. Сенситивность «знакомого» поля: схожесть опыта и границы объективности в биографическом интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 146–156. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.8> EDN: VLJYFM

For citation:

Skorokhodova N.D. (2026) Sensitivity of a Familiar Field: Similarity of Experience and the Limits of Objectivity in a Biographical Interview. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 146–156. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.8>



Скороходова Нина Дмитриевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ndskorokhodova@hse.ru

В статье рассматривается сенситивность социологического поля, возникающая не традиционно вследствие его травматичности, закрытости или этической опасности, а из-за схожести жизненного опыта исследователя и информанта. Опираясь на материал биографического интервью, исследовательница рассматривает, каким образом близость к полю и информанту (возрастная, биографическая и контекстуальная) трансформирует исследовательскую ситуацию, размывая границы между пониманием и интерпретацией, эмпатией и методологическим участием. Демонстрируется, как знакомство исследователя с полем способствует воспроизводству социально одобряемого нарратива, в частности фигуры «правильного» субъекта мобильности. Также в статье отмечается, что в ситуациях схожего опыта методологический инструментарий из фиксированного набора вопросов превращается в чувствительный к контексту элемент исследовательской практики.

Особое внимание автор уделяет рефлексивной позиции интервьюера и тем рискам для объективности данных, которые возникают при работе



с «простыми» и хорошо знакомыми полями. Предлагается рассматривать схожесть опыта как самостоятельный источник сенситивности и подчеркивает необходимость методологической рефлексии, направленной не только на защиту информанта, но и на осознание исследовательской ответственности в ситуациях близости к изучаемому полю.

Ключевые слова: интервью в качественных исследованиях; исследовательская рефлексия; биографический нарратив; молодежные исследования

Введение

Я — социолог со стажерским опытом, то есть начинающий исследователь. Большую часть моих методологических знаний составляют обсуждения и рефлексии старших коллег и наставников, за плечами у которых большой опыт. Но наверняка в жизни каждого опытного исследователя были не совсем удачные интервью или те, о которых пришлось много размышлять. Интервью как метод активно развивается и выходит за рамки классической стационарной беседы, обретая динамичные формы (например, go-along или онлайн-интервью). Однако при этом биографические интервью все еще скрывают в себе привычные ловушки. Например, исследователи отмечают, что интервью требуют особого внимания при (пере)распределении контроля между исследователем и изучаемым. Процедура интервью организуется таким образом, чтобы предоставить вовлеченным в него участникам больше автономии, иницируя динамический характер распределения власти в процессе интервью. На терминологическом уровне такой переход к вовлеченности проявляется в частом упоминании информанта, или объекта исследования, как участника, или субъекта [Веселкова и др., 2017].

Проблема взаимоотношений между исследователем и исследуемым затрагивает также и вопрос позиционирования исследователя и его включенности в поле. Особое значение этот аспект приобретает не только в очевидно сенситивных полях, но и в полях «знакомых». Такими полями в данной статье я считаю те, в которых исследователь либо лично знаком с социальным окружением, жизненными обстоятельствами и опытом информантов, либо, в ряде случаев, сам обладает сходным биографическим опытом. Именно в таких полях границы между профессиональной дистанцией, эмпатией и аналитической объективностью оказываются особенно подвижными.

В методологически ориентированных исследованиях авторы иногда прибегают к использованию максимы «делай привычное непривычным» (*making the familiar strange*). Такой взгляд на особенность социологического воображения предполагает, что основным препятствием на пути к социологическому знанию является наше восприятие его как фиксированного и понятного. Для преодоления этого препятствия предлагается опираться на четыре понятия — овеществление, привычность, странность и дефамилиаризация [Gunderson, 2020]. Наиболее интересной для обсуждения дилемм

объективности и сенситивности является дефамилиаризация — отстранение (дистанцирование) от знакомого опыта.

Когда речь заходит о сенситивных полях, внимание исследователей, как правило, фокусируется на работе с травмирующим опытом, уязвимыми группами, закрытыми или труднодоступными полями, а также потенциально опасными социальными контекстами. В кулуарных дискуссиях нередко звучит и критика того, что сенситивные поля экзотизируются, в особенности начинающими исследователями, которые только знакомятся с правилами внутривидовой этики, развивая свой профессиональный подход. Для них такие уязвимые поля оказываются перегруженными этическими дилеммами и рисками.

На мой взгляд, понимание сенситивности, основанное на классической оппозиции «опасное — безопасное» или «травмирующее — мягкое», оставляет в тени менее очевидные, но не менее значимые формы исследовательского риска. Они могут возникать в повседневных, на первый взгляд «безопасных» и «простых» полях. Такие поля кажутся притягательными, к примеру, из-за легкости рекрутинга. Например, распространено мнение, что поиск студентов в молодежных исследованиях осуществляется беспроблемно: молодежь часто онлайн, поэтому посты о поиске информантов или прямые сообщения с приглашением на интервью (гипотетически) работают эффективно. Однако при сборе данных исследователи сталкиваются с отменами, переносами или даже игнорированием со стороны информантов, что вынуждает команду искать новые пути рекрутинга.

Еще одной причиной, по которой «простое» поле привлекает некоторых исследователей, является знание контекста изучаемой проблемы (раз я знаю проблему, то и нужный вопрос сумею задать). Но здесь и кроется скрытая угроза удобного поля. Похожесть опытов или предварительная экспертность интервьюера встают на пути производства объективного знания. Более того, в ситуации, когда исследователь не соблюдает баланс объективности, «простое» поле оборачивается большой методологической ловушкой. Смещается роль исследователя. Знание контекста и предварительная экспертность работают уже не как ресурс, а как фильтр. Сквозь этот фильтр проходят нарративы информанта, и он сам начинает подстраиваться под существующие представления о норме и успехе.

В данной статье я рассматриваю качественное интервью как сенситивное поле нормативного согласия, в котором исследователь становится заложником своего опыта и попыток соблюдать объективность. Важно отметить, что под объективностью здесь подразумевается не абсолютная истина, а валидность и рефлексивный контроль за тем, как личный опыт исследователя сказывается на сборе данных.

Одновременно можно предположить, что интервью (и интервьюер, знакомый с контекстом беседы) поддерживает легитимизацию успешного жизненного опыта, о котором рассказывает информант. Это создает неуловимую сенситивность, которая не проявляется в физической или психологической угрозе для участников исследования. Она скрывается гораздо глубже, на уровне аналитических и этических действий социолога. Предлагаемое



в данной статье мнение не подвергает сомнению традиционные и устоявшиеся принципы сбора качественных данных, а скорее выступает как попытка расширить представление о сенситивных полях и рассмотреть интервью как пространство аналитического риска, требующее рефлексивного осмысления.

На материале одного глубинного интервью со студентом, переехавшим из небольшого поселка в мегаполис для обучения в университете, в статье показывается, каким образом в ходе интервью воспроизводилась фигура «правильного» субъекта мобильности: мотивированного, заслуживающего доступа к ресурсам мегаполиса и одновременно демонстрирующего лояльность по отношению к месту своего происхождения. Отмечу сразу, что анализ не будет фокусироваться на репрезентативности рассказа, ведь удостовериться в подлинности опыта мы не можем (и не ставим перед собой такую задачу всякий раз, нажимая кнопку «запись»). Методологически мы доверяем нарративам информантов. Анализируя это интервью, я уделяю особое внимание механизмам, делающим возможной именно такую, «правильную» версию субъекта. Я рассмотрю также и некоторые высказывания интервьюера, которые потенциально подчиняются воспроизводству социально одобряемого образа субъекта.

Почему «простое» поле вообще становится сенситивным?

В тексте я беру «простое» поле в кавычки, чтобы не давать ему однозначной оценки. Любопытно, что даже написание этого текста напоминает балансирование на канате объективности. Вернемся к интервью как основному инструменту сбора качественных данных. Такие данные посвящены субъективному опыту, биографиям, жизненным практикам и смыслам, которые информант приписывает социальным действиям. При этом граница между нейтральностью при извлечении жизненного опыта и исследовательским влиянием в его конструировании во время интервью оказывается едва различимой, так как в процессе беседы информант не просто рассказывает о себе, но активно соотносит свою биографию с ожиданиями исследователя и нормативными рамками допустимого повествования. В свою очередь, со стороны исследователя попытки избежать предвзятости можно увидеть в минимизации личного вторжения интервьюера в повествование, стандартизации вопросов и контроле над комфортом взаимодействия внутри пары интервьюер — информант. Однако в рамках качественной методологии очевидно, что подобная нейтральность не является состоянием, естественно зарождающимся после начала интервью. Нейтральность скорее становится нормативным идеалом, который сам по себе структурирует поведение участников интервью и их ожидания относительно допустимых форм высказывания.

В ситуации интервью исследователь неизбежно выступает не только как собиратель данных, но и как партнер, чье присутствие, статус и способы реагирования формируют рамки того, *что* может быть рассказано и *каким образом*. Тем самым субъективность интервьюера не просто вмешивается в процесс извлечения опыта, но становится неотъемлемым элементом производства

знания, определяет траектории рассказа и формы самопозиционирования информанта.

Попытка жестко развести объективность и субъективность в этом контексте приводит к методологическому парадоксу: чем настойчивее исследователь стремится к нейтральности, тем менее видимым становится его реальное участие в формировании данных. В результате интеракционное измерение интервью оказывается вытесненным из аналитического поля, хотя именно оно во многом определяет содержание и форму получаемых нарративов.

Контекст интервью

Интервью, выбранное для методологической рефлексии, взято из базы моего текущего исследования, посвященного опыту образовательной миграции внутри России. Сомнения начались еще до выхода в поле: в начале своего академического пути я сама переехала в мегаполис и тревожилась, что опора на личный опыт во время проведения исследования создаст риск аналитической «слепоты», из-за которой отдельные аспекты работы останутся неосвещенными, потому что покажутся мне очевидными. Так, при самом первом составлении гйда интервью вопросы о процессе переезда (каким образом осуществлялся переезд, кто помогал перевозить вещи, как много вещей привезли с собой и т. д.) не вошли в список. Лишь при повторном рецензировании я обнаружила, что пропустила этот блок ввиду кажущейся мне очевидности. Естественным образом я заранее, за информанта, ответила на эти вопросы: а) вероятно, информанты использовали самолет; б) вероятно, им помогали родители или друзья; в) вероятно, количество вещей насчитывало не один чемодан. Такая «слепота» возникла из-за моего непосредственного знакомства с контекстом переезда на дальние расстояния. Перед вами пример настоящей методологической несправедливости по отношению к информанту, которая, к счастью, была вовремя устранена. Отмечу, что такое исследовательское упущение многое привнесло в итоговый процесс сбора данных и послужил напоминанием о том, что в интервью не бывает «ненужных» вопросов.

Интервью проходило очно, мы с информантом выбрали тихое место, в котором ничто не мешало встрече. Информант заметно волновался, это был его первый опыт участия в социологическом исследовании. Я объяснила цель нашей беседы, обозначила формальные моменты (запись и анонимизацию), информант задал уточняющий вопрос о формате интервью. Все недопонимания устранены — можно начинать.

Активное интервью как интеракция

Опираясь на концепцию активного интервью [Holstein, Gubrium, 1995], я рассматриваю данное интервью с точки зрения сдержанного метода без вмешательств, не допускающего искажений (так называемых biases).



Социологическое интервью в то же время может намеренно создавать прецеденты для возникновения новых, более осмысленных нарративных позиций следующим образом. Активный интервьюер предлагает подходящие рамки и способы концептуализации, при этом активный информант привносит в беседу широкий спектр повествовательных ресурсов. Активному информанту не требуется особых подсказок: зачастую ввиду индивидуальных особенностей человек действительно разговорчив и открыт к беседе, повествует о своем опыте с увлечением.

Исследовательский интерес к жизненному опыту информанта способствует размыванию границ обыденности: социолог переключает повседневность из режима очевидности в режим рефлексивного осмысления. Это заметно на эмпирическом материале, когда после заданного вопроса информант начинает останавливаться на деталях, возвращаться к уже рассказанным эпизодам и переосмысливать их, переводя привычные элементы повседневности в регистр объяснения и оправдания. Так, ответ на вопрос о текущей занятости (кем Вы работаете?) сразу привел информанта к более глубокой рефлексии:

«Я подрабатываю, в онлайн-школе работаю, да. Поэтому какой-то небольшой доход — он имеется. Потихоньку-потихоньку к самостоятельной жизни, я думаю, приду. Но сейчас я самостоятельность могу обрести в этом городе большом. Находясь вдали от родителей, от друзей, я могу понять, кто я на самом деле и на что я готов, именно я. То есть, понимаете, там я мог обратиться, там, помощи. Я всегда мог быть не один. Здесь ты все-таки один, да, я все-таки один. В первую очередь один...»

В данном отрывке мы подмечаем последовательный и рационализированный ответ, содержащий биографическую интерпретацию опыта через призму осмысленных ощущений. Информант транслирует свой опыт в соответствии с логикой социально легитимного нарратива взросления: комментирует необходимость выстраивания карьерного пути, самостоятельного обеспечения своей жизни. Происходит также и переход к описанию самостоятельности как ресурса для трансформации своей идентичности из молодого во взрослого. Завершается высказывание ощущением одиночества, которое сопровождает процесс взросления в большом городе. Информант начинает рассказ через фактическое самоописание, представляя себя интервьюеру через профессию, в которой он занят. Затем факт вырастает в рефлексивный комментарий, отражающий замотивированность и нормативную «правильность» позиции молодого человека. Кризис, описанием которого завершается цитата, выступает скорее в роли нормализованного испытания, не требующего дополнительного объяснения.

Любопытно, что следующей фразой, произнесенной информантом в интервью, становится риторический вопрос: *«И здесь проверка тебя: готов ли ты [быть один]?»*. Далее некоторое время мы провели в тишине, потому что этот вопрос прозвенел и навис над нами: над информантом, который раскрывает

мне свой опыт, и надо мной, которая свой опыт старается всячески отодвинуть на задний план. Такое молчание — пример нормативного согласия, где мой схожий опыт заблокировал уточняющий вопрос, который мог бы углубить тему одиночества в процессе мобильности.

Хочется ненадолго вернуться к тезису о схожести опыта. Ранее я упомянула, что знакомство с контекстом интервью может быть как полезным, так и разрушающим. В данном случае эмпатия приобрела форму исследовательскую (выраженную в молчаливом согласии и мягком переходе к следующему вопросу гайда), а не превратилась в эмпатию человеческую. Как отмечают Н. Веселкова с соавторами [2017], вопрос о распределении контроля в интервью требует постоянной рефлексии. Так, даже внешне нейтральная позиция может скрывать неявные формы власти. Авторы подчеркивают, к примеру, что «структурированный вопрос может вызвать не меньше подозрений о проверке, чем абстрактный» [Веселкова и др., 2017]. Власть осуществляется независимо от формата вопроса или формулировки высказывания, она может проявляться и невербально. Эта идея оказывается ключевой для понимания описываемого мной случая. Мое молчаливое согласие, которое при первоначальной рефлексии я интерпретировала как методологически корректное невмешательство, можно также рассматривать как осуществление символической власти над информантом. Через мягкое, поддерживающее согласие нормативное давление становится менее видимым, а тем самым менее заметным и для исследователя. Такое отношение к мягкому согласию отличает (методологически) интервью от беседы: в привычном разговоре можно было бы посочувствовать и, как принято, поделиться своей стороной проблемы. В социологическом интервью сочувствие, безусловно, допустимо, но его границы очерчены более четко.

Рефлексирующий субъект, коим является информант, также склонен самостоятельно формулировать вопрос, совпадающий с предполагаемой логикой интервью:

«И вот эта история [города]: ты живешь в истории, учишься в истории, пропитываешься этой историей. Вдохновляет! Больше чем в [название города], мне кажется. Почему не остался [в родном регионе]? Или это уже в следующем вопросе?»

Эта реплика свидетельствует не только о рефлексивности информанта, но и о его ожиданиях в исследовательской ситуации, где биография должна быть выстроена в виде последовательного и рационального нарратива.

«Поэтому сейчас уже не скрывают, что [в родном регионе] тяжелее экзамены. Но ребята все равно, несмотря на это, стараются и рвутся улететь. Почему рвутся улететь? Потому что, во-первых, нехватка университетов колоссальная...»

Информант, помимо ответа на поставленный вопрос, также предлагает интерпретационные рамки: формулируя причины отъезда, он акцентирует



внимание на инфраструктурных ограничениях в родном городе. В данном отрывке заметно, как биографический нарратив выстраивается в соответствии с ожиданиями исследовательской ситуации. Отсутствие уточняющих реплик с моей стороны как интервьюера закрепляет эту версию субъекта. Я не вступаю в конфликт с социально одобряемым представлением об образовательном успехе и личной инициативе. То есть в данном случае интервью выступило как сцена для совместного воспроизводства «правильного» субъекта мобильности.

Говоря о конструировании «правильного» субъекта и о том, почему эта проблема не исчерпывается известным тезисом о несовпадении нарратива и опыта, необходимо сделать два уточнения. Во-первых, в моем случае проблемой становится не столько сам факт конструирования, сколько его невидимость для исследователя. Конечно, биографический подход предупреждает: нарратив — это ретроспективное упорядочивание опыта. Е. Рождественская, например, задается вопросом, идет ли в автобиографиях речь о текущих интерпретациях опытов или же личные биографии являются «прагматическими рассказами социально обусловленного Я» [Рождественская, 2012]. Однако методологическая ловушка заключается в том, что, разделяя опыт информанта, исследователь перестает замечать давление нормативности. То есть проблема лежит не в плоскости онтологии, а в плоскости эпистемологии, отражая, какие именно версии знания мы легитимируем своим молчаливым согласием. Интересно, что подобное воспроизводство не является прямой ошибкой интервьюера: я не создаю давления, не манипулирую вопросами. Оно осуществляется путем минимального вмешательства, молчаливой валидацией предлагаемых интерпретаций. Именно в таких ситуациях интервью приобретает характер нормативного согласия: социально (в лице интервьюера и информанта) одобряемые версии опыта оказываются наиболее безопасными и предпочтительными для артикуляции.

Во-вторых, в описанном кейсе схожесть опыта создает иллюзию прозрачности поля, которая оборачивается иной методологической ловушкой, описанной Квале. Исследовательское интервью, утверждает Квале, это «беседа между двумя партнерами на тему, интересующую *обоих*» [Квале, 2003]. То есть в процессе интервью мы и изучаем другого, и узнаем в нем себя, подтверждая собственные представления о норме. В ситуации, когда опыт исследователя и информанта пересекаются настолько, что их нарративы начинают зеркально отражать друг друга, интервью рискует превратиться из инструмента производства нового знания в механизм взаимного подтверждения уже существующих смыслов.

Таким образом, невидимость нормативного давления, отсутствие рефлексивной дистанции и молчаливое согласие с социально одобряемыми версиями опыта создают риск производства «гладкого» нарратива, который подтверждает ожидания обеих сторон, но оставляет за скобками сложность и противоречивость реального опыта.

Вместо заключения

Ситуации схожести опыта неизбежны при проведении социологического исследования. Степень схожести варьируется от сюжета к сюжету. Это значит, что в разных интервью на одну и ту же тему исследователь может сталкиваться как с частичными совпадениями биографических обстоятельств, так и с более глубоким пересечением жизненных траекторий. Такие пересечения влияют на способы постановки вопросов, реакции на высказывания информанта и последующую интерпретацию данных. Встает вопрос, стоит ли вообще использовать свой опыт при извлечении нарратива. Стоит ли заниматься темами, близкими исследователю? В методологических дискуссиях этот вопрос нередко формулируется в виде упрощенных или даже преувеличенных примеров: женщина-исследователь изучает женщин. Знает ли она об информантках значительно больше, чем мужчина-исследователь? Как быть в этом случае, кому проводить интервью? Этим вопросом, кстати, я задавалась еще на самых первых занятиях по методологии социологических исследований.

Подобная постановка проблемы предполагает выбор из двух крайностей: свой опыт становится или ресурсом, или искажением. Но в действительности такое разделение неприменимо. Собственный опыт исследователя невозможно «выключить», он будет неизбежно присутствовать в интонациях, наклонах головы, паузах или формах узнавания нарратива информанта. Суть в том, осознает ли это интервьюер и каким образом его опыт становится частью исследовательской ситуации. В итоге граница между пониманием и интерпретацией становится особенно проницаемой.

Разводя понятия «слушать» и «соучаствовать», исследователь шагает по тонкому льду интервьюирования. А если дискутировать о дальнейших действиях, то в ситуации схожести опыта и предварительного знакомства с полем уместно рассмотреть следующую последовательность переживания «знаемого» поля интервьюером.

Рекомендация может быть описана как переход от экзотизации исследовательского сюжета к распознаванию совпадений опыта и последующей дефамилиаризации. Такое отстранение может быть выражено как классическими приемами, так и личными находками исследователя. К классике отнесем, например, проявление исключительной тактичности при ведении разговора [Madge, 1963] или работу исследователя с собственными ожиданиями перед заходом в поле [Bradburn, 1983]. Из более современных находок прибегнем к универсальному совету «не навреди». И если исследователь осознает, что все риски нарушения объективности устранить невозможно, то такой совет будет простым правилом, которому можно следовать. Более эмпатично звучит правило: интервью должно пройти так, чтобы для информанта оно стало «значимым фактом дня» [Омельченко, 2020].

Завершающим этапом станет рефлексия интервьюером собственной позиции и тех невидимых форм власти, которые реализуются в ходе интервью через вербальные и невербальные знаки. Именно это, на мой взгляд, составляет специфику чувствительности «простого» поля: она обнаруживает



себя не при разработке инструментария, не во время проведения интервью, а на этапе аналитической рефлексии, когда мы задаемся вопросом, а все ли мы услышали?

Такое осознание позволяет зафиксировать моменты, которые требуют особой аналитической ответственности. Впоследствии, с опытом, такая рефлексия становится привычной и сопровождает каждый шаг исследования. Для начинающих исследователей, равно как и для опытных, такое признание методологических несовершенств позволит взглянуть на интервью как на пространство исследовательской ответственности, которое никогда не сможет стать нейтральным. Или сможет?

Литература / References

Веселкова Н. В., Вандышев М. Н., Прямикова Е. В. Об основных векторах развития метода интервью // Социологические исследования. 2017. № 6. С. 44–56. DOI: <https://doi.org/10.7868/S0132162517060046> EDN: YTMFMR

Veselkova N.V., Vandyshev M.N., Pryamikova E.V. (2017) On the Main Developments in the Methodology of Interviewing. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological Research]. No. 6. P. 44–56. DOI: <https://doi.org/10.7868/S0132162517060046> (In Russ.)

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. EDN: QXOYUJ

Kvale S. (2003) *Issledovatel'skoe intervyyu* [Research Interview]. Moscow: Smysl. (In Russ.)

Омельченко Е. Л. «Я ничем вам не помог...»: исследовательская рефлексия вслед неудачному интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. № 1. С. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5>

Omelchenko E. L. (2020) "I Didn't Help You in Any Way...": A Research Reflection After an Unsuccessful Interview. *Interakciya. Intervyyu. Interpretaciya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No. 1. P. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5> (In Russ.)

Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012.

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2012) *Biograficheskij metod v sociologii* [Biographical Method in Sociology]. Moscow: Izd. dom VShE. (In Russ.)

Bradburn N. M. (1983) Response Effects. *Handbook of Survey Research*. С. 289–328.

Gunderson R. (2020) *Making the familiar strange: Sociology contra reification*. Routledge.

Holstein J. A., Gubrium J. F. (1995) *The Active Interview*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Madge J. (1963) *The Origins of Scientific Sociology*. London: Tavistock.

Сведения об авторе:

Скорородова Нина Дмитриевна — стажер-исследователь, Центр молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** ndskorokhodova@hse.ru. **ORCID ID:** 0009-0000-3121-3170.

Статья поступила в редакцию: 14.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.1.



Sensitivity of a Familiar Field: Similarity of Experience and the Limits of Objectivity in a Biographical Interview

DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.8

Nina D. Skorokhodova HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: ndskorokhodova@hse.ru

The article examines the sensitivity of the sociological field, which emerges not traditionally due to its traumatic nature or ethical danger, but because of possible similarities of the life experiences of the researcher and the informant. Based on the material of the biographical interview, the researcher shows how proximity to the field and the informant (age, biographical and contextual) transforms the research situation and blurs the boundaries between understanding and interpretation, empathy and methodological participation.

By analyzing the interview episodes, the article shows how the researcher's familiarity with the field contributes to the reproduction of a socially approved narrative, in particular, the figure of the "acknowledged" subject of mobility. The article also notes that in situations of similar experience, methodological tools turn from a fixed set of questions into a context-sensitive element of research practice.

The researcher pays special attention to the interviewer's reflexive position and the risks to the objectivity of the data that arise when working with "simple" and familiar fields. The article suggests considering the similarity of experience as an independent source of sensitivity and emphasizes the need for methodological reflection aimed at both protecting the informant and realizing research responsibility in situations of proximity to the field under study.

Keywords: interview in qualitative research; methodological reflection; biographic narratives; youth studies

Author Bio:

Nina D. Skorokhodova — Research Assistant, Center for Youth Studies, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** ndskorokhodova@hse.ru. **ORCID ID:** [0009-0000-3121-3170](https://orcid.org/0009-0000-3121-3170).

Received: 14.02.2026

Accepted: 18.03.2026

In Memoriam

Памяти Микка Титмы (1939–2026)

28 февраля ушел из жизни Микк Титма, эстонский социолог, профессор Тартуского университета, директор Центра социальных исследований в Восточной Европе (Таллинн). Профессор внес огромный вклад в развитие эстонской и российско-советской социологии, свою докторскую диссертацию защищал в Институте социологии РАН в Москве, преподавал в многих странах Европы и США, вел большую издательскую деятельность.

Но для российской социологии он стал значимой фигурой прежде всего тем, что в течение 15 лет как инициатор и организатор проводил многоэтапный лонгитюдный проект «Включение молодежи со средним образованием в рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенцию» («Пути поколения», 1983–1996). Исследование, начатое в 1983 году в 15 регионах тогдашнего Советского Союза, охватило анкетным опросом 50 тысяч выпускников 8-го класса и предполагало генетическое отслеживание их жизненного пути в пять этапов — от 16 до их 30 лет.

На этом долговременном исследовательском пути Микк Титма смог сформировать и воспитать большой коллектив социологов-исследователей из разных регионов тогдашней страны, начиная с Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), а также из Украины, Молдавии, Таджикистана, и заканчивая российскими регионами — Урал, Алтай, Красноярск, Москва, Тула. Они начинали свой профессиональный путь с вручную, карандашом заполненных адресов и анкет тогдашних 8-классников; розыска раз в 4 года по адресным книгам и школьным спискам одних и тех же респондентов; с освоения новой терминологии лонгитюда и обработки данных через SPSS; с навыков работы и контактов в многонациональном коллективе.

В результате сформировался многонациональный научный коллектив последователей, представителей разных социологических поколений, которые выросли и защищали диссертации в ходе участия в этом внеинституциональном научном коллективе на материалах проекта «Пути поколения». Для них проект Микка Титмы стал важной вехой их профессиональной судьбы, а профессор своего рода создателем незримого колледжа — колледжа Титмы.

Со временем, вследствие исторических сдвигов, этот колледж, к сожалению, распался, но вклад профессора Титмы в развитие региональной и национальной социологии остался неизменным.

Здесь могла бы стоять коллективная подпись — колледж Микка Титмы.

Светлая память нашему профессору,

Семенова В.В.



Интеракция. Интервью. Интерпретация
СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(ЭЛ № ФС 77-73688 от 14 сентября 2018 г.)

Учредители – Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);
Российское общество социологов
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);

Главный редактор:
Виктория Владимировна Семенова

Редакция:
Александрина Владимировна Ваньке
Елена Юрьевна Рождественская
Анна Владимировна Стрельникова
Ирина Наумовна Тартаковская

Технический редактор:
Ольга Николаевна Салангина

Компьютерная верстка:
Виталий Евгеньевич Кудымов

Корректор:
Анна Николаевна Кокарева

Журнал «Интеракция. Интервью. Интерпретация» включен в базу РИНЦ, перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Все права на опубликованные материалы принадлежат редакции и авторам.

Точка зрения авторов публикуемых материалов
не обязательно отражает точку зрения редакции.

Публикации журнала не могут быть воспроизведены
в любой форме без разрешения редакции.

Требования к оформлению рукописей и порядок подачи статей
изложены на официальном сайте журнала: www.inter.fnisc.ru

2026. Том 18. № 1. Дата выхода в свет 28.03.2026.

Адрес редакции: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, каб. 513
Тел.: +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com

Editorial office: Krzhizhanovskogo str., 24/35, korp. 5, 117218, Moscow, Russian Federation
Ph. +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com